Н.Н. Недельский

Литература и нравственное здоровье общества.

Заметки об отечественной литературе, периода перестройки.

Благовещенск

2001

ПРИЛОЖЕНИЕ

Эта книга включает размышления автора от отечественной литературе второй половины 80-х годов. Этот период в ее истории отечественной литературы хронологически почти совпадает с первыми годами перестройки и реформации общества. На читателя со страниц журнальных публикаций обрушился водопад новых писательских имен, произведений, идей, которые силой художественной убедительности, степенью откровенности, новизною мысли потрясли душу, заставили заглянуть в тайны бытия, убедив, что дальше так жить нельзя. Человек – это высшая ценность на Земле, и он сам сообразно своей природе, а не по принуждению, должен выбирать между тоталитаризмом и свободой. И в том, что люди выбрали свободу, – не в последнюю очередь заслуга литературы последних лет.

Именно в эти годы нам впервые открылись блистательные произведения "возвращенной литературы". Достаточно назвать имена Горького и Бунина, Пастернака и Платонова, Шаламова и Гроссмана, чтобы в нашем сознании воскресли "несвоевременные мысли", "окаянные дни", мучительно выкапывался "котлован" для "общего дома", общей могилы жертв сталинской системы…

В культурный процесс страны вошли произведения писателей русского зарубежья – Г. Владимова и А. Синявского, В. Аксенова и С. Довлатова, В. Максимова, С. Соколова, А. Зиновьева. Вернулись к читателю произведения И. Шмелева, В. Набокова, М. Алданова, В. Ходасевича. Огромный резонанс в литературно-художественном и общественном процессе вызвали произведения А. Солженицына, благодаря которому, по мнению В. Максимова, русская литература после долгого и трагического перерыва вновь заняла подобающее ей место в ряду мировых литератур.

И все это на фоне того, что продолжали трудиться В. Астафьев, Ч. Айтматов, В. Белов, Ю. Бондарев, В. Распутин, – да разве всех назовешь? Впрочем, всех и не надо. Но лучших – обязательно. Не ошибиться бы…

В литературе этих лет много спорного, неоднозначного, непримиримого. Она подогрета кипением политических страстей, групповых интересов и амбиций. Но именно это и делает литературный процесс воистину живым, полнокровным, как полнокровна человеческая жизнь. Может быть впервые мы ощутили его как необходимую часть разумного бытия свободного человека.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС В ПЕРЕЛОМНЫЕ ГОДЫ

Рассмотрение особенностей литературного процесса переломных для нашего общества лет – второй половины 80-х годов – целесообразно начать с ответа на вопрос, что считать подлинно созвучным времени в литературе. Отметим, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Так, Феликс Светов, иронизируя по поводу самой заметной "удачи" перестройки – переменам в литературном процессе, – пишет: "Нельзя не радоваться тиражам прежде запретных книг, они и писались для того, чтобы быть прочитанными на родине. Но нельзя забывать и о том, что на Западе они хорошо известны, как правило, не единожды переведены, и у них уже своя судьба. Думаю, их публикация спустя 20, 30, 50, а то и 70 лет после их написания делает сегодняшнюю жизнь этих книг непростой, а порой неестественной, во всяком случае, вписаться в текущий литературный процесс они никак не могут, остаются ему совершенно чуждыми, а громогласные риторические заявления о единстве русской культуры "там" и "тут" приводят вовсе к нелепостям: Платонов и Трифонов, М. Кольцов и Мандельштам, Ахматова и Синявский, Войнович и Замятин, Пастернак и Рыбаков… Вкручивая эти несовместимые книги в единую "мясорубку" и выпуская полученный "фарш" гиганскими тиражами, гласность превращает литературный процесс в нечто невообразимое: можно ли было печатать "Реквием" Ахматовой в одном номере журнала "Октябрь" с очередным клеветническим сочинением Н. Яковлева? Но они были напечатаны рядом, вместе, под одной обложкой! Постыдная попытка в советскую литературу включить шедевры русской культуры XX века вместе с трагическими судьбами их авторов, насильственная их интеграция в официальную культуру и есть свидетельство уродства и неестественности сегодняшнего литературного процесса" [1].

Раздел статьи, откуда приведена цитата, так и озаглавлен: "Чем литературный процесс похож на "мясорубку ". Однако не все согласны с такой характеристикой. В частности, В. Лакшин обратил внимание на то, как быстро, интенсивно идут новые процессы в литературе [2]. Еще в 1986 г. общий литературный фонд был беден, и критики ожесточенно спорили по поводу казавшихся тогда очень смелыми произведений, – таких как "Печальный детектив" Астафьева, "Плаха" Айтматова, "Все впереди" Белова. Но прошло всего полгода, и выстроилась шеренга новых книг, которые встали в центре читательского внимания и как бы снизили интерес к тому, что волновало еще вчера. Многие из этих книг создавались не один день, и надо отдать должное мужеству их авторов, которые работали над ними годы и долгие десятилетия. Это "Белые одежды" Дудинцева, "Дети Арбата" Рыбакова, "Зубр" Гранина, это и повесть Приставкина "Ночевала тучка золотая…", и поэма Твардовского "По праву памяти", и прочитанные нами впервые "Котлован" Платонова и

"Собачье сердце" Булгакова. Эти книги принесли заметные плоды в литературе, и следовательно, в общественном сознании, потому что они так или иначе связаны с процессами, происходящими в жизни народа. Это и суд, – суд суровый и откровенный, над некоторыми этапами нашего прошлого. Это и попытка выяснить, какие общественные силы являются ведущими в процессах жизни в последнее время.

Необходимо оговориться, что большинство произведений, о которых шла речь, написаны не сегодня. Но они остаются современными. И думается, мысль Лакшина, что современность – не просто в теме, не в том, чтобы описывать сегодняшнюю действительность, а в том, чтобы сегодняшними глазами увидеть весь наш путь, увидеть 30-е и 40-е годы, и годы войны, – плодотворна. Современность взгляда писателя, его мысли важнее его темы. И в этом – тот большой общественный резонанс произведений, появившихся впервые на страницах наших журналов. Впрочем, это хорошо почувствовали и сами писатели.

На вопрос корреспондента газеты "Советская культура": "Сейчас мы с надеждой наблюдаем заметное оживление в литературе, и если одна из функций литературы – воспитывать, то можно ли прогнозировать улучшение общественной ситуации?" Анатолий Приставкин, автор повести "Ночевала тучка золотая…", ответил: "Когда ко мне со всех концов пошли читательские письма, я, в сущности, наивный по натуре человек, утвердился еще больше в своей вере, что словом можно воздействовать на жизнь, менять ее к лучшему. На общественный процесс способна влиять только литература в целом, и для такой литературы должны быть определенные предпосылки. Нынешний день принес нам много интересного – Дудинцев, Гранин, Рыбаков, Булгаков и Платонов… Но пока открыты лишь форточки, а не окна, и поэтому то, что еще будет напечатано, в меня вселяет больше надежд, чем то, что уже напечатано. Нам еще предстоит открывать новые имена, произведения, предстоит возвращать Набокова, Бунина, даже Горького. Читатель оживлен, читатель ринулся подписываться на "толстые" журналы, из рук в руки передают новые книги, спорят о прочитанном.… Разве это не радость для писателя? И разве это не признаки духовного возрождения, какого-то качественно нового взлета духовности в нашем обществе? И обязаны мы всем этим перестройке".

Духовное возрождение, качественно новый взлет духовности стал идейно-нравственной атмосферой консолидации общества вокруг идей перестройки, главным завоеванием первого ее этапа.

Общество жаждало правды, пусть горькой, обжигающей, заставляющей биться сердце от потрясения, но – правды. И эту правду несла народу литература.

Но все стремительно меняется. Прошли годы, и общество оказалось в тяжелом экономическом и политическом кризисе. Все реже стало звучать слово "перестройка". На смену консолидации пришли разобщенность, национальная и политическая вражда. Пролилась кровь в Азербайджане и Армении, Прибалтике и Средней Азии, продолжает литься кровь в Чечне.

К чести российских писателей, они не отгородились от жизни народа и едва ли не первыми подняли голос в защиту перестройки от попыток увести дело в область выяснения прежних конфликтов или подменить деловое решение экономических и социальных проблем разгулом страстей, выдвижением всевозможных нереальных требований. Именно они призвали все здоровые силы республик бывшего СССР к созидательной, конструктивной работе.

С открытым письмом к своему другу азербайджанскому поэту Наби Хазри обратился дагестанский поэт Расул Гамзатов:

"Я люблю и Азербайджан и Армению. И седой Хазар, и светлый Севан – им обоим в моем дагестанском сердце не тесно. Моя позиция – утверждение достоинства каждой нации и каждой народности. Дружбу я ценю превыше всех сокровищ на свете. "Берегите друзей" – это не просто книга моя. Это лозунг мой, принцип жизни… Дорогой Наби, в истории бывают такие моменты, когда поэты не должны плыть по течению, а быть способными, как здоровая рыба, идти против течения, быть народоводителями, пытаться вернуть заблуждающихся, озлобленных, обманутых на путь доброты, навстречу прекрасному, ибо поэт – тот, у кого прекрасная цель и кто совершает достойные этой цели поступки, чего бы это ему ни стоило. Если бы армянские и азербайджанские поэты, как это делали их отцы, подняли свой голос против негативных явлений, многого можно было бы избежать. Органы правоохранения призваны пресекать преступления, а художники обязаны пресекать пороки. Пусть в своих делах поэты и мыслители порой остаются в одиночестве, изоляции, но правде в конце концов суждено победить".

Однако, политические страсти все более накалялись. Ожесточенные парламентские дебаты, телевизионные страсти, уличные манифестации, – политика проникла в каждый трудовой коллектив, семью, организацию, и не в последнюю очередь в писательскую. Образовалось множество групп, между ними шла полемика, которую многие, ради сохранения видимости корпоративного единодушия, старались не замечать. Создавалось впечатление, что группы не слышат друг друга.

На политический митинг под хорошо известными знаменами, по мнению корреспондента "Известий" В. Малухина, очень походил VII съезд писателей России [3]. Приве-

дем примеры высказываний участников этого съезда, доходивших порой до крайней степени политизированности [4]. Деполитизации творческого союза потребовал писатель из Свердловска Н. Никонов.

В. Марченко предложил отказаться от ложного представления, что литература должна кого-то воспитывать, подобно гувернантке при великовозрастных недорослях, коим родители забыли подвязать нравственные подгузники. "Литература – часть духовной жизни народа, его капище, наконец, и по ее состоянию можно судить о нравственном здоровье или нездоровье самого общества".

По мнению А. Салуцкого, в разрушительном, опасном для судеб страны манипулировании общественным сознанием, в потворстве националистическим силам Прибалтики больше всех виноват народный депутат СССР, член Президентского совета А.Н. Яковлев. Дело, оказывается, в том, что начался очередной передел мира. И для вершителей мировых судеб ослабленная, расчлененная Россия – великолепный приз. Идеология, политика сегодня служит лишь камуфляжем для достижения истинных, вековых целей. А цели эти с домосковской эпохи состояли в том, чтобы держать Россию на положении второразрядной державы, чтобы сначала не допустить ее к Балтике, а потом, после Петра, оттеснить от Балтики. Впрочем, обо всем этом сказано и пересказано в трудах долгоопального историка Сергея Соловьева. До литературы ли здесь?

"Мы уже так далеко отступили от своих национальных и социальных идеалов, – сказал В. Рогов, что положение, пожалуй, можно сравнить лишь с 41-м. Потому что дальше отступать некуда. Вспомним, как еще недавно кликушествовали прорабы перестройки: "Дальше! Дальше! Дальше!.. "Теперь мы видим – и, по-моему, это осознает большинство народа, – что их "дальше" означает превращение страны в полуколониальную, раздробленную территорию, над которой будут властвовать транснациональные монополии. Все эти хаммеры, ротшильды, максвеллы, рокфеллеры, оппенгеймеры…"

Соучастниками убийств наших солдат распоясавшимися молодчиками назвал В. Кириенко В. Коротича и Ф. Бурлацкого, чьи печатные органы "Огонек" и "Литературная газета" "старательно выискивают всяческую грязь" и воспитывают читателей "в духе ненависти к людям в армейских шинелях".

Не рынок спасет нас, заявил Ф. Чуев, а обновленная Коммунистическая партия, Компартия России и наша армия. Это те силы, которые способны вытащить Родину из беды, и мы должны помочь им в этом деле. Встать на их сторону. Наш народ победил фашизм, послевоенные трудности, одолеет и нынешний этап.

У нас еще в достатке матерьяла,
Который мы не пустим на распыл.

У нас еще царь-пушка не стреляла,
У нас еще царь-колокол не бил.

Гневом и болью было пронизано выступление В. Распутина о положении в стране, дошедшей "до последнего предела безумства и самоистязания", разрушения "ее духовного и общенационального миропорядка, традиций, культуры". Распутин возмутился, что собрат по перу Ю. Черниченко привел в качестве своего лозунга слова*: "Патриотизм – это свойство негодяев". Ни больше, ни меньше. Как только русский писатель, да не только писатель, заикнется о патриотизме, он уже фашист, и чем бы он ни оправдывался, сколько бы не отмывался, ничего у него все равно не выйдет, и в мире его будут знать не по литературе, а по этой громкоголосой славе. Разрушается культура. Откровенность бесстыдства – вот в чем сегодня трезвость взгляда, свобода пошлости, мошенничества, насилия, вот что такое приметы времени. Нравственность, как старуху, раздели донага и, изможденную, изработанную, сморщенную, с обвислыми сосцами, проводят сквозь строй молодой растленной плоти, демонстрируя два вида красоты. Развращается молодежь. И это самое страшное, когда начинаешь думать о будущем России. Комсомол наш занялся ремеслом сутенера. Немалая часть прессы в подцензурных условиях до того бедненькая, настрадалась, что заболела "бешенством матки".

Главный редактор журнала "Наш современник" С. Куняев нанес удар по художникам, писавшим о Ленине – Вознесенскому, Рождественскому, Коротичу, Сулейменову, Евтушенко, Шатрову. По его мнению, они возвели настоящий идеологический фундамент казарменного интернационализма. "Ярые защитники революционного красного террора… Кто требует, чтобы палачу казачества Якиру был возведен памятник? Евтушенко. Кто славит, когда надо, социализм во Вьетнаме? Он же. Кто пишет целые книги о Фиделе Кастро? Опять же Евгений Александрович. Кто сегодня с депутатской трибуны требует, чтобы мы прекратили помощь Вьетнаму и режиму Кастро? Опять идеологи того же типа.… О людях такого рода сурово и точно высказался А. Солженицын в своем письме об устройстве России: "И вот в новую гласность кинулись и все грязные уста, которые десятилетиями обслуживали тоталитаризм. Из каждых четырех трубадуров сегодняшней гласности – трое недавних угодников брежневщины, – и кто из них произнес слово собственного раскаяния вместо проклятий безликому "застою"? Десятки тысяч образованцев у нас огрязнены лицемерием, переметчивостью…" По мнению С. Куняева, "темную уголовно-политическую драму профессиональных революционеров нам должно знать не по "лени-

* Следует уточнить, что это перефразированная фраза Л. Толстого: "Патриотизм – это последнее прибежище негодяев".

ниане" Шатрова, Вознесенского, Евтушенко, Коротича, Сулейменова, а по правдивым, кровоточащим свидетельствам, оставленным нам Буниным, Шмелевым, Волошиным, Шаляпиным, Короленко, Иваном Ильиным, Солоневичем и Сергеем Булгаковым. Их страницы о той эпохе должны быть в школьных хрестоматиях, а не патетически-коньюктурные строки Вознесенского и Рождественского, Шатрова!

Особое негодование оратора вызвали строки из поэмы Вознесенского "Лонжюмо":

В драндулете, как чертик в колбе,
Изолированный, недобрый
Среди великодержавных харь,
Среди ряс и охотнорядцев,
Под разученные овации
Проезжал глава эмиграции –
Царь!

"И это, – возмущается Куняев, – о новом российском великомученике, убийство которого сейчас, да и давно уже признается одним из самых кровавых и гнуснейших преступлений XX века!"

На собраниях писателей иного менталитета звучали прямо противоположные речи. Таким образом, политизация общества, достигнув точки кипения, захлестнула сознание многих творцов литературного процесса, высветив их творческие, идейно-нравственные позиции. Последнее определило отношение многих к эстетической теории. Неприятие социалистического реализма стало для ряда писателей и критиков каким-то наваждением, увлечением, модой. Похороны социалистического реализма мыслились как непременное условие появления новой свободной литературы.

Яркий образец такого способа мышления продемонстрировал Виктор Ерофеев. По его мнению, советская литература есть порождение соцреалистической концепции, помноженной на слабость человеческой личности писателя, мечтающего о куске хлеба, славе и статус-кво с властями, помазанниками если не божества, то вселенской идеи. "Соцреализм – это культурная эманация тоталитаризма, это бешенство литературы в замкнутом пространстве, это садо-мазохистский комплекс писателя-атеиста, продающего дьяволу душу, в существование которого и которой он не верит. Есть такая страна – Тухляндия. В ней мы прожили многие годы. В ней своя, тухляндская литература. Это еще раз к вопросу о соцреализме" [5].

Официозная литература, считает автор, имеет до сих пор сталинскую традицию и опирается на принципы "партийности", утвердившиеся в 30-40-е гг. Сущность этой литературы – в пламенном устремлении к внелитературным задачам, созданию "нового человека", который в диссидентской терминологии скорее известен как *гомо советикус* и сводится к одномерной общественной функции. Социалистический реализм учил видеть дей-

ствительность в ее революционном порыве, поэтому отрицал реальность за счет будущего, был ориентирован на преодоление настоящего, насыщен звонкими обещаниями и безграничной классовой ненавистью. Автор пишет, что с началом перестройки официозная литература растерялась, она лишается своей идеологической роли и неприкосновенности. И поэтому становится непримиримой противницей перемен. Либеральная критика начинает ее высмеивать, указывая на ее беспомощность, стереотипность, тупость ("среди официальных писателей нет талантливых"), – одним словом, "бессмысленность своего земного существования, отданного ложным идеалам". Прощай, соцреализм и да здравствует "новая" литература.

Своеобразные "поминки", по одному из основополагающих принципов социалистического реализма – партийности, – справил И. Золотусский [6].

Летом 1990 года в нашей прессе вновь увидела свет статья Валерия Брюсова "Свобода слова" [7]. Это был ответ на статью В.И. Ленина "Партийная организация и партийная литература", опубликованую в газете "Новая жизнь" 13(26) ноября 1905 года. Молниеносность, с которой Брюсов – уже в ноябрьском номере "Весов" – откликнулся на нее, свидетельствует о том, как глубоко задела его статья Ленина.

С утверждением, что "жить в обществе и быть свободным от общества нельзя", Брюсов не спорит. Но делаемые из этого постулата выводы относительно свободы искусства для него решительно неприемлемы. В основе эстетической программы и всей литературной деятельности Брюсова лежало признание суверенности искусства как самостоятельной сферы жизни человеческого общества. И крупнейшие современные художники, по его мнению, всей своей жизнью опровергали "зависимость от денежного мешка, от подкупа", доказали возможность и в условиях буржуазного общества сохранить свое видение мира, духовную свободу и независимость.

Еще большие опасения вызвали у Брюсова ленинские положения о корректировке свободы слова и печати "свободных союзов". Условия, при которых "каждая… партия мечтает стать единственной", когда отсутствует "уважение к чужому убеждению", неминуемо должны были, по его мнению, обратить свободу в фикцию, привести к монополии на обладание истиной. "Такая свобода не может удовлетворить нас, тех, кого г. Ленин презрительно обзывает "гг. буржуазные индивидуалисты" и сверхчеловеки, – пишет Брюсов. – Для нас такая свобода кажется лишь сменой одних цепей на новые. …В нашем представлении свобода слова неразрывно связана со свободой суждения и с уважением к чужому убеждению. Для нас дороже всего свобода исканий, хотя бы она и привела нас к рушению всех наших верований и идеалов. Где нет уважения к мнению другого, где ему только надменно предоставляют право "врать", не желая слушать, там свобода-фикция".

Необходимо заметить, что сам Ленин в своей статье подчеркивал, что "речь идет о партийной литературе", то есть о принадлежащих партии и осуществляемых ею изданиях, партийной журналистике. К сожалению, впоследствии, особенно с начала 30-х годов, эта статья, расширительно истолковываемая, стала использоваться как основа различных догматических построений и как прямое обоснование некомпетентного административного вмешательства в вопросы литературы и искусства, как оправдание идеологических гонений. История как бы задним числом подтвердила обоснованность опасений Брюсова, и, нельзя не отметить прозорливости и точности многих предвидений ее автора, вплоть до "ссылок на Сахалин одиночества", столь знакомых нам по застойным годам.

По мнению И. Золотусского, статья Ленина, которая будто бы обращена не к художественной литературе, а к партийной публицистике и журналистике, фетишизирована не только советской наукой и литературоведением, но и самим автором. В ней, как и во всех трудах Ленина, преобладает взгляд одного учения, одной группы, одной партии, и с этой позиции он смотрит и на художественную литературу. Он это подтвердил собственной литературной практикой, – своими статьями о Толстом. Пример, – его статья "Лев Толстой как зеркало русской революции", где он доказывает, что существует два Толстых, – один со своими заблуждениями по части идей, другой – художник, один приемлем для партии и партийного взгляда на литературу, а другой неприемлем. В то же время один Толстой неотрывен от другого. Вот здесь, по мнению Золотусского, и проявляется догматический подход, расчленение художника на его сознание, интуитивную мощь и талант, который якобы противоречит его сознанию. Это и есть доказательство партийного подхода к великому образцу художественного творчества. Так что, когда говорят, что Ленин имел в виду не совсем то, – это лукавство. Он имел в виду именно то, т.е. всю литературу, всю публицистику, не только газетные статьи, не только полемику, но и художественную литературу. Сегодня это написано золотыми буквами на всех фронтонах, на всех стенах. И в школе, и в вузе эту статью заучивают как основополагающую.

Сама идея партийности, считает Золотусский, возникла как безродное дитя русской философской общественной мысли. У нее не было ни бабушек, ни дедушек, ни прадедушек, разве что в лице западных социалистов-утопистов, потом – наших революционеров-демократов. Так, когда-то Белинский отделял Гоголя от его творений. Пытались это делать и революционные демократы, и марксистская критика вообще. Но это, по мнению автора, – прагматический и схоластический подход к искусству, ибо партийность есть узурпация истины. Она при встрече с художественной практикой, особенно с классикой XX в. – творчеством Платонова, Булгакова, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, – исчезает как мираж. И "где-то рядом с ней ходит ее побочный сын, социалистический реа-

лизм, которого она родила не в муках, а каким-то химическим путем. Сейчас они оба скончались: мать и дитя".

Статья Золотусского содержит, если не вполне убедительную, то привлекательную аргументацию. Мысль о том, что идея писателя неотделима от его творчества, потому что идея – это его судьба, выражение его личности, его духовные искания, которые воплощают себя в творчестве, без сомнения, плодотворна. Но та ее часть, где он категорически утверждает, что "в целях партии было заложено насилие, насильственное приостановление исторического течения и направление в другое русло", что напоминает ему идею переброса северных рек на юг, – малоубедительна. Не слишком ли это отдает партийностью, только иного толка?

И совсем уж риторически повисают в воздухе следующие вопросы автора: "О какой партийности может идти речь? Какая сейчас партийность литературы может быть, когда у нас появилось столько партий? Как можно этот принцип партийности литературы представить себе сейчас? И можно ли назвать хоть одного крупного художника, которого можно причислить к какому-то направлению, течению политическому или даже литературному?"

Думается, аргументированно на эти вопросы отвечает Д. Урнов [8]. Признавая, что партийность литературы принадлежит к скомпрометированным понятиям, впрочем, как и идейность, реализм, народность, автор напоминает, что представление о том, что литература партийна, что она служит определенным интересам, принадлежит к важнейшим, фундаментальным открытиям. Литература не может быть непартийной, она не может не отражать чьи-то интересы хотя бы потому, что создается людьми, а те в своей деятельности руководствуются своими интересами. Эти интересы и группируются под флагом партийности. Попробуйте, спрашивает автор, назвать крупнейших писателей, представляющихся нам выразителями ИСТИНЫ с большой буквы, истины совершенно неотразимой, объективной, любых времен, какого угодно народа, который не выражал бы совершенно определенных интересов. Начиная с Гомера.

Нет основания говорить, что Лениным было создано учение о партийности. Ленин очень точно описал это явление, эту особенность литературы. Хочет этого автор или нет, он служит определенным интересам. Партийность – такая же принадлежность всякого литературного произведения, творчества всякого писателя, как принадлежность национальная или принадлежность к тому или иному литературному направлению. Партийным было творчество и Гоголя, и Шекспира, и Сервантеса, и Толстого, и такого внешне беспартийного художника как Чехов. Иными словами, они занимали совершенно определенную

общественную и политическую позицию. Все это выражается известным марксистским афоризмом: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.

Понимал ли под партийностью литературы Ленин проведение линии партии в литературе? Конечно. Но как? Безусловно, не в популяризации, не в иллюстрации каких-то партийных положений, а в том, что эта позиция выражается гораздо сильнее, богаче и объективнее, чем она выглядит, говоря бюрократическим языком, в каком-нибудь постановлении.

Вот как, по мнению Урнова, понимал Ленин проблему партийности литературы. Разумеется, реальное применение этого принципа в партийной и государственной практике означало совсем иное.

Итак, в чем же отличительные особенности литературного процесса переломных лет? В его политизации? Но политизация даже духовной жизни сама по себе не есть собственно литература, – скорее предпосылка качественно нового ее взлета: ориентация на полную свободу художественных исканий, включенность в мировой литературный процесс, отсутствие любого творческого монополизма и нормативных предписаний в сфере мировоззрения и поисков художественных форм. Изменился и статус литературы, которую, по мнению ряда литературоведов, нельзя никак мыслить сейчас как искусство слова в частном виде. Наблюдается не только выдвижение публицистики на первый план, но и создание самой литературы в режиме усиленной публицистики. Самый большой риск, который подстерегает писателя при этом, – скороспелая трактовка, фрагментарность, мозаичность, ибо ставка делается не на объективное освещение фактов, а на острочувствительную индивидуальную реакцию на него. Эмоциональный документ замещает психологическую и социальную полноту изображения.

Думается, что главные отличительные особенности литературы надо искать в ее новой реальности. К ней в большей мере относятся выдающиеся произведения, с которыми целые поколения читателей познакомились только в последние годы, –"Несвоевременные мысли" Горького, "Чевенгур" Платонова, "Окаянные дни" Бунина, "Собачье сердце" Булгакова, "Жизнь и судьба" Гроссмана, "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына, "Доктор Живаго" Пастернака и многие другие. Авторы этих произведений с неповторимой художественной силой утверждали самоцельность человеческой жизни, духовные основы человеческого существования – веру, доброту, милосердие, культуру как основу прогресса, гуманизма, творчества. После знакомства с их творчеством писать серо и посредственно стало просто неприлично. Они, как нередко отмечают сегодня, подняли творческую планку на такой высокий эстетический и нравственный уровень, что допрыгнуть до нее далеко не каждому под силу. Они заложили магистральное направление обновления ду-

ховных основ общества, разбуженного (к сожалению, с большим опозданием) перестройкой.

Стихнут политические бури, улягутся страсти. Новые поколения будут судить о нас не по политическим дебатам, а по глубине и благородству мысли памятников эпохи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Феликс Светов. Вольному воля // Лит. газета. 1990. 23 мая.
2. Вл. Лакшин. Современность мысли // Моск. новости. 1987. 16 авг.
3. В. Малухин. Театр одного союза. Завершился VII съезд писателей России // Известия. 1990. 17 дек.
4. Сов. Россия. 1990. № 52.
5. Виктор Ерофеев. Поминки по советской литературе // Лит. газета. 1990.4 июля.
6. И. Золотусский. Партийность литературы – узурпация истины // Комс. правда. 1990. 18 авг.
7. В. Брюсов. Свобода слова // Мол. коммунист. 1990. № 6; Лит. газета. 1990. 22 авг.
8. Д. Урнов. Литература не может быть не партийна // Комс. правда. 1990. 18 авг.

В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ.

"Седая древность при всех обстоятельствах остается для всех будущих поколений необычайно интересной эпохой, потому что она образует основу всего позднейшего более высокого развития" [1].

Эта простая и вместе с тем замечательная мысль Ф. Энгельса невольно возникла в сознании, когда я читал статью Олега Рашидова о положении русских в Узбекистане [2]. Приведу фрагменты из ее раздела. "На проспекте Шарафа Рашидова – памятник Шарафу Рашидову. Для тех, кто не помнит, это первый секретарь ЦК компартии Узбекистана, герой уголовных дел, связанных с приписками хлопка. Изобличенный и посаженный в тюрьму. Ныне – национальный герой. А на месте Карла Маркса – памятник азиатскому завоевателю Амиру Тимуру. Некоторые историки говорят, что он был кровожаден и буен. И что лепить из него героя – все равно что ставить на Красной площади памятник Чингисхану. Но коли молодому государству позарез нужны национальные герои – нехай будет. Тем более что памятник хороший. Тимур, который был мелковат, хромоног и одноглаз, в узбекском варианте больше смахивает на русского богатыря Илью Муромца. В двух шагах музей Тимура и тимуридов… Занимательна карта "Мечты Тимура". Зеленым цветом обозначена территория, которую завоеватель планировал включить в свою империю. Грезы Амира простирались аж до Москвы.

– Эх, жалко, что он так мало пожил, – говорит девушка-экскурсовод. – Представляете, какое большое было бы у нас сейчас государство".

Наивное невежество безымянной девушки из статьи объяснимо. Кто же нынешнем Узбекистане решится рассказать правду о кровавом Тимуре? Кто покажет ей картину Верещагина "Апофеоз войны", порекомендует прочитать роман С. Бородина "Звезды над Самаркандом", современную историческую романистику о той жестокой эпохе? Пожалуй, только деятели российской интеллигенции, которая осталась верна традициям реалистического изображения исторических героев в том историческом потоке, который их несет. И тому есть реальное подтверждение.

1997 год был провозглашен в Узбекистане годом Тимура, и именно тогда был опубликован роман А. Сегеня о Тамерлане [3]. Это как бы продолжение исторического повествования С. Бородина, его третьей части "Молниеносный Баязет", вышедшее спустя двадцать с небольшим лет. За этот период многое изменилось в истории нашей страны, многое – в мировосприятии писателей, художественно-эстетических особенностях воспроизведения истории. Думаю, мало осталось тех, кто помнит роман Бородина. Поэтому имеет смысл поделиться раздумьями об этом замечательном произведении, об исторической романистике и ее художественных принципах сегодня.

Научное осмысление реальности основывается на раскрытии соотнесенности человека с историей, действительность рассматривается как логическое продолжение исторического процесса в его устремлении в будущее, с позиций которого определяются и оцениваются ведущие тенденции современности. Эти принципы нашли яркое воплощение в романе С. Бородина, который представляет собою часть многотомного и многопланового повествования, охватывающего период конца XIV – начала XV в. Описываемая эпоха "дает благодатнейший материал современному советскому писателю для раздумий об исторических судьбах народов нашей страны" [4].

Об эмире Тимуре, среднеазиатском полководце и завоевателе, написано немало. Историки оценивают его деятельность отрицательно. Так, во "Всемирной истории" (т.III) указывается, что "правление Тимура сыграло отрицательную роль и для самих народов Средней Азии, ибо все эфемерные успехи Тимура достигались за счет утверждения режима бесправия в Мавераннахре и нищеты в покоренных странах". Такие же оценки содержатся во многих других трудах. Однако имели место факты неверного освещения роли и места Тимура в развитии среднеазиатских и иных стран, его идеализации. На эти просчеты было указано в ряде критических статей [5].

Нечеткость идейной позиции отдельных историков, приведшая к преувеличению личности Тимура, сказалась и на характере оценок произведения Бородина. Некоторые критики утверждали, что "этот роман представляет собой апологетику кровавого завоевателя Тимура, совершавшего грабительские походы в Закавказье, Иран, Афганистан, Индию и другие страны. Все его походы С. Бородин освящает именем аллаха" [6]. Согласиться с подобной трактовкой – значит перечеркнуть эстетическое содержание и социальное звучание произведения, поднимающего большие нравственные и философские проблемы, волнующие современный мир. "Я решил показать особый тип завоевателя, некий "надчеловеческий" патологический тип, повторяющийся в веках, решил исследовать причины, ставящие подобную личность во главе государства, и само это государство – чудовищное тоталитарное образование, поглощающее все вокруг" [7] – так сказал автор об исходном замысле романа. Вполне естественно критическое отношение советского писателя к реакционным силам в историческом прошлом. Выведение отрицательных персонажей в качестве главных героев – явление не новое в советском историческом романе. Достаточно вспомнить трилогию В. Яна о нашествии монголов. Еще в 1935 году Горький, заинтересовавшись замыслом И. Ле создать серию исторических произведений из прошлого Украины, рекомендовал автору включить в нее роман, посвященный Мазепе. В эпохе Мазепы Горький видел своеобразный период украинской истории – начало новой полосы борьбы за Украину и ее государственность.

Исследователь исторического романа С.М. Петров отмечал, что "представление о характере господствующих классов, их эксплуататорской сущности, обреченности их или исторической бесплодности необходимо создавать всей системой образов произведения, а не только отрицательными моральными характеристиками каждого любого персонажа этой среды. Чтобы избежать социологической схемы, писатель должен изображать подобных персонажей конкретно-исторически, учитывая и их субъективные представления о себе, и отношение к ним со стороны эксплуатируемых в то время – с точки зрения всей сложности взаимоотношений классов в данную эпоху"[8]. Романист не должен забывать, что исторический процесс – это столкновение множества отдельных воль, каждая из которых определяется массой особых жизненных обстоятельств. Художнику необходимо видеть прошлое одновременно и глазами современников минувшего, и с высоты своего времени. Эти принципы ярко реализованы Бородиным в романе "Молниеносный Баязет".

С первых страниц читатель ощущает смертельную опасность, нависшую над миром, которая связана с именем Тимура. Автор заставляет разных людей высказать мнение о нем. Первый разговор возникает в сиваской бане, куда зашел тайный посланец Тимура Мулла Камар посеять панику слухами о могуществе Меча Аллаха. Имя эмира хорошо известно, оно вызывает страх. Сравнение жестокого Тимура с мечом аллаха вызывает негодование мусульман. "Не богохульствуй… Кто ему дал право губить мусульман, которым жизнь дал аллах? Он не мнит ли себя выше аллаха? Не меч аллаха он, а меч против аллаха!" Уже эта первая характеристика завоевателя проливает свет на некоторые излюбленные приемы его политики. Прежде чем пустить свои стрелы в грудь врага, он пробивал его сердце слухами. Они порождали страх, сомнение в своих силах, а это подготавливало победу.

Тимур появляется в третьей главе романа – "Карабах". Он объезжает стан, вникает в детали быта своего воинства. В его внешности нет ничего примечательного. Перед читателем глубокий старик, покалеченный в войнах. Но в то же время это властный, мудрый муж. Он даже демократичен в разговоре с воинами, проявляет заботу об их питании и снаряжении. Однако постепенно писатель раскрывавает сложность и противоречивость натуры эмира.

Образ Тимура очерчивается по двум направлениям. С одной стороны, автор изображает его в общении с различными по положению и родству людьми, за решением государственных и бытовых дел, с другой – глазами беспристрастного историка, который, отвлекаясь от чисто человеческих качеств Тимура, подчеркивает в нем те черты, которые способствовали его возвеличению, господству над всеми и вся: его упорство, настойчивость, суровость. Первый подход, хотя и ограниченно, преобладает над вторым.

В некоторых эпизодах детали внешности эмира, особенности его индивидуальных черт, – манера сидеть, ходить, есть, особенности речи, в частности характерное междометие "то-то", являющееся и своеобразным утверждением какой-либо мысли, и поучением, и приказом одновременно, – приобретают глубоко символический, обобщающий смысл. В этом плане весьма характерна следующая картина: "Не заезжая к себе, он спешился неподалеку от юрты Сарай Мульк ханум и прошел по хрупкому снегу, оставляя странный след, острый и четкий от левой подошвы, правый – неряшливый от размотавшегося войлока. Если б доныне сохранился тот след на снегу, вдумчивый историк сразу опознал бы след Тимура – не таков ли след, оставленный им в памяти человечества…" Хромота Тимура как индивидуальная особенность, таким образом, приобретает нарицательный смысл.

Из гаммы разнообразных черт характера Тимура автор выделяет лицемерие, коварство, жестокость. В романе много блестящих сцен, помогающих приподнять завесу с темной души завоевателя и заглянуть в ее бездну. Одна из таких сцен – то, как Тимур поучает близких. Эмир преисполнен государственной мудрости и безмятежного спокойствия. Как и надлежит великому государственному мужу, он изрекает незыблемые истины, прекрасно зная, что каждое его слово запишут и из уст в уста будут передавать потомкам: "Аллаху угоден тот государь, при коем народ сыт, где за труд дается справедливейшая плата, когда за свой заработок простой человек может взять то, что ему нужно. Надо жалеть вдов, надо лелеять сирот. Я повелеваю, чтоб в нашем государстве было так".

К. Маркс, характеризуя Тимура, писал: "…он дал своему новому царству *государственное устройство и законы*, представляющие большой контраст с теми зверствами и дикими разрушениями, которые *по его приказам* совершали татарские орды" [9]. Политика Тимура основывалась на жестокости, варварстве, отсутствии чести.

Исследуя основные черты среднеазиатского полководца, С. Бородин стремится избегать лобовых моральных характеристик, схематизма и социологической заданности. Он создает художественный образ завоевателя, рисует его сложный внутренний мир. Писатель подчеркивает одиночество Тимура среди огромных толп преданных ему слуг и рабов, многочисленной родни, тягостное чувство стыда за свое потомство, готовое по кускам растащить сколоченную им империю.

Показательна сцена, где Тимур хочет напоить коня морской водой, как и обещал своему воинству. В ней проявилось развитие художественной традиции, идущей от В. Яна, в романе которого "К последнему морю" одной из кульминационных сцен является выход монголов к морю. Хотя в изображении этих картин у обоих авторов имеются существенные различия, но в той и другой отказ коней монголов пить морскую воду – символ

обреченности завоевательных походов. Дикая воля, навязываемая миру, противоестественна.

В романе "Молниеносный Баязет" значительное место отводится изображению народа. Развенчивая Тимура, автор противопоставляет ему могучую силу, которую не смог победить хитроумный завоеватель, – силу созидания, носителем которой является народ-труженик, творец. Главное здесь не количество сцен народной жизни, а стремление философски оценить вклад народа в сокровищницу мировой культуры, показать его социальную психологию.

Высокая степень философского проникновения в творческую суть народа породила и особенности его художественного отображения в романе. Образ народа здесь – не тлько портреты конкретных людей с их сложным внутренним миром, хотя и им отведено в произведении немалое место. Достаточно вспомнить переживания мужественного тимуровского гонца Айяра при воспоминании о девушке, милее которой у него не было никого и которая навеки исчезла в темной пыли, поднятой над миром конницей Тимура. Запоминается образ безымянного старика, маленького лесного человека, высказавшего в разговоре с ханом Тохтамышем слова, полные ненависти к тщеславным завоевателям. На похвальбу Тохтамыша, выжегшего и разграбившего Арарат, старик отвечает вопросом: "А они тому радовались? – А что они понимают, что ли, как надо жить! – И нынче там живут по-твоему или по-своему?" В этих, казалось бы, бесхитростных вопросах раскрывается глубоко народный взгляд на течение жизни, уважение к другим народам, их обычаям и верованиям.

Однако образыконкретных людей – не главная особенность изображения трудящегося люда в романе, так как основная задача автора – разоблачение сущности завоевателя. Хитрому и жестокому Тимуру, перед которым трепетали целые царства, мог противостоять только народ во всей своей массе, а не отдельные личности. Не случайно все, что патологически ненавидел Тимур, связано в романе с именем народа: прекрасные дворцы и храмы, превосходящие те, что украшали столицу Мавераннахра – Самарканд, произведения искусства, цветущие сады и др. Отсюда и цепь афористических изречений, в которых образ народных масс органически ассоциируется с плодами рук человека, мудростью его мысли: "судьба строений подобна судьбам людей", "дальние дороги… подобны жизни человеческой", хотя "человеческая жизнь кончается, а дороги бесконечны"; или описание сиваской бани, в которой людям "мнилось невозможным никакое бедствие, когда против множества бедствий выстояли столь древние и плотные своды над головой, когда так дружелюбно разверзли пасти львиные морды, радуя всех чистыми, неиссякаемыми струями воды".

Путь к миру и созиданию писатель видит в единении народов. Последовательный историзм позволил ему показать суровую правду века и вскрыть причины людской разобщенности. "Только большие бедствия могли объединить всех" – эта авторская мысль, постоянно развиваясь, достигает большой художественной силы в сценах, где людям угрожает смертельная опасность. Тогда рушатся разделявшие их барьеры, забывается повседневная суетность, единая мысль и воля делают их стойкими защитниками родного дома.

Перед опасностью гибели от руки завоевателя первейшей обязанностью людей было сберечь священное наследие отцов для потомков. Бородин описывает различные слои горожан в осажденном Дамаске: книжников, несущих ученые произведения Ибн Халдуну, так как понимают, что если в город ворвутся враги, "они не оставят здесь камня на камне, а книгам никто из них цены не знает"; дамасских оружейников, людей сильных и гордых своим ремеслом, ибо "никто, нигде, ни в одном городе не умеет того, что они умеют, не знает того, что они знают", в минуту опасности они роздали выкованное ими оружие жителям. Так же действуют другие горожане. Однако автор не склонен рисовать картины классового мира даже в минуты опасности. Если беднота сплачивалась для защиты города, то купцы сгребали деньги, чтобы откупиться. И хотя власти вышли из города и заявили о его сдаче, город "гордо и отважно сопротивлялся во всех переулках и улицах, в слободках ремесленников, в базарных рядах, во дворцах, в мечетях – всюду, где сплотились сообщества простых людей".

Много городов пало под натиском Тимура, немало творений рук человеческих им было уничтожено, но созидательная сила оказывалась сильнее разрушительной, ожесточая завоевателя своей мощью и неисчерпаемостью. Для раскрытия ее огромную роль в романе играет имеющая символический характер сцена осмотра Тимуром древнейшего храма в Баальбеке. "Он послал рослого барласа из своего караула смерить шагами каждую из плит… Он подумал, хватит ли его воинов, чтобы такое здание поднять и сдвинуть. И опять прикинул на глаз, сколько понадобится воинов, чтобы растащить в разные стороны и сбросить в обрыв всю эту тяжесть. "Нет, даже если призвать сюда всех из стана, всех этих полтораста или двести тысяч окрепших в походах вояк, никакое воинство не осилит это". Он опять прошел несколько шагов. "Но ведь развалить легче, чем сложить! Что же это была за сила!"" Так завоеватель столкнулся с тем, что было сильнее его.

Характеризуя роман Бородина, З. Кедрина писала: "Две мощные личности противоборствуют здесь: "Повелитель Вселенной" Тимур и "старик в буром бурнусе", историк Ибн Халдун, – победа в веках была за стариком, ибо он воплощает бессмертие гуманистического начала, за ним был народ народов – человечество, его свободная мысль" [10]. Од-

нако образ Ибн Халдуна в романе настолько сложен и необычен, что его следует рассматривать с нескольких точек зрения.

Во-первых, какова роль ученого магрибца в сюжетно-композиционном построении произведения? Он появляется в тот момент, когда конница Тимура вступила на арабские земли. Ибн Халдун полон решимости дать отпор варварским ордам степняков, он спешит в Дамаск, чтобы именем султана возглавить его оборону. Глазами историка автор показывает достопримечательности одного из древнейших городов мира и одновременно разрушения, бесчинства завоевателей, перед которыми никогда не вставали философско-этические проблемы о добре и зле. Для них все просто: добро – это они сами, зло – все, что им противостоит. Образ Ибн Халдуна помогает также осмыслить сущность Тимура. Беседы с эмиром, напряженные попытки понять его тайные помыслы, чтобы отвернуть меч от родных сердцу историка арабских городов с их богатыми книгохранилищами, проливают новый свет на характер завоевателя.

Во-вторых, в образе историка заключен громадный идейно-философский смысл, в нем противоборствуют силы "мощных личностей". Такое решение необходимо автору для понимания главного конфликта произведения.

Возглавляя оборону Дамаска, Ибн Халдун дает торжественную клятву горожанам: "Мы отстоим сей дом мирных людей!" Пытаясь застать врага врасплох, отогнать его от города, он приказывает войску напасть на врага в поле. В короткой битве дамаскинцы были истреблены. Ибн Халдун знал, что город, и прежде всего его трудовой люд, полон решимости биться с врагом насмерть. Но оружия он никому не дает, памятуя слова одного из своих учителей: "Народ, завладев оружием, опасен сам для себя". Да и не было еще ни в Магрибе, ни в Севилье султана или правителя, доверяющего оружие простому народу.

Голос царедворца часто заглушает в Ибн Халдуне голос ученого, сурового летописца людских дел и народных судеб. Не случаен поэтому испуг, который овладел им при известии о раздаче оружейниками оружия жителям Дамаска. И не это ли способствовало его решению встретиться с Тимуром. Намерение Ибн Халдуна тайно покинуть город обреченный на гибель, практически означало измену людям, доверившим ему свои судьбы. Это решение – наиболее трудный социально-психологический поворот в развитии образа. В душе Ибн Халдуна гамма чувств: с одной стороны, боязнь предстать перед коварным завоевателем, тревога за судьбы оставшихся людей, с другой – "предчувствие новой судьбы", неудержимая жажда познания, ибо "рассмотреть его, послушать его (Тимура – *Н.Н.*) – это нежданная удача для историка", хотя, вполне вероятно, эта жажда подогревалась мыслью, что толщина стен, окружающих город, уже ничего не значит. Герой находит

нравственное оправдание своему решению: оно не должно мыслиться как измена, ибо "измена арабам была бы изменой самому себе, труду всей жизни".

Противоречивость характера Ибн Халдуна, очевидно, порождена средой, в которой он вырос, впитал ее с малых лет как единственную возможность существования, познания и блага. Иным и не мог быть царедворец и верховный судья Каира.

Историзм авторской мысли помог создать сложную, сотканную из живых нитей фигуру запутавшегося мыслителя, который, однако, философским проникновением в причины происходящих явлений сумел противопоставить кровавому деспоту правду исторического процесса. Он выработал собственную концепцию развития племен и народов, которая как бы предвосхищала сформировавшееся много позднее географическое направление в философии. Включая в себя определенные материалистические элементы в понимании исторического процесса, она поражала своей новизной, внутренней логикой, завершенностью. Эту теорию Ибн Халдун преподнес Тимуру, который под старость все чаще и чаще стал задумываться над судьбами сколоченной им империи. Вот он задает историку вопрос:

"Я заметил: кочевники завладевают землями и городами и через три или четыре поколения сами становятся добрыми, дряблыми и достаются новым кочевникам, которые приносят крепкую силу на смену тем, кого одолела лень, беспечные забавы… И так круг за кругом у всех народов, о каких я только мог узнать…

Вдруг он кинул на Ибн Халдуна такой тоскливый, кажется, подернутый слезами взгляд, что историк растерялся…

– Это что же, мой сын, потом внук, наконец, сын внука… И на том конец? Этому учит ваша книга?

– О Амир! О милостивый Амир! Моя книга не учит, она только описывает дела людей и судьбы народов.

– Дела и судьбы! Это красиво сказано. Но быть этого не должно!.. Такую книгу выбросить бы, чтобы никто так не думал".

Исследователи исторического романа неоднократно отмечали, что советского писателя интересовали в прошлом не только социальные отношения, но и роль и значение в истории политических, культурных, моральных, психологических и научных фактов. В связи с этим может возникнуть вопрос: что кроме научной теории, доказывающей тщету и бессмысленность войн, мог противопоставить историк Ибн Халдун Тимуру, для которого не существовало ни нравственности, ни иных человеческих ценностей? Ничего.

Многое за время общения с завоевателем изменилось в душе и мыслях Ибн Халдуна. От первоначального "предчувствия счастья" перед встречей с Тимуром не осталось и сле-

да. Невыразимой горечью, обидой наполнены его думы о прошедших днях. Уже вдали от Тимура, среди иерусалимских святынь, он невольно снова и снова обращался к сопоставлению людей с теми, кто пытается разрушить жизнь во имя собственного бессмысленного существования. "Да, если б доскакали… Что могли бы принести завоеватели, кроме своей жестокости да силы для разрушения? Чему бы могли научить? Что сумели бы показать кроме злобы? Ничего у них нет для созидания".

Своеобразно сюжетное построение романа: многие его события развиваются вокруг "путешествия тимуровской пайцзы" – медной монеты, гарантировавшей неприкосновенность. Тимур выдавал ее лично в знак высочайшего доверия. Пайцза как бы олицетворяет мощь и силу империи, – именно она, а не человек, ибо жизнь людей не представляет никакой ценности в государстве, построенном на несправедливости и насилии.

Символична сцена уничтожения пайцзы Ибн Халдуном, сильным своими убеждениями в торжестве человеческого разума и человеческих рук. Он "вдоль трещинки разломил ее, подержал на ладони, подкидывая обе половинки, и бросил на иерусалимский двор под мозолистые ноги верблюдов". Конец пайцзы – это как бы неизбежность гибели темных сил, обреченных историей.

Роман Бородина охватывает события 1401 года, которые завершились взятием и разграблением ордами Тимура Дамаска. Несмотря на название "Молниеносный Баязет", в нем не описаны знаменитая битва при Анкаре, пленение османского султана.

А теперь обратимся к роману А. Сегеня "Тамерлан". В нем воспроизведены последние месяцы жизни Тимура, организация и начало бесславного похода на Китай, закончившегося смертью завоевателя и началом распада его огромной империи. Но именно из романа Сегеня мы узнаем и о сражении с Баязетом, и о завоевании Индии, и о многих других кровавых злодеяниях средневекового варвара.

Тимуру в романе противостоит мирза Искендер, личный секретарь и писарь, которому в часы старческой бессонницы тот диктует историю своих завоеваний. "Я хочу, – поучает он, – чтобы с моих слов ты написал настоящую "Тамерлан-намэ" – великую книгу о том, кого почтенный шейх Заин ад-Дин Абу-Бекр Тайабади назвал "наибом" (т.е. последователем Мухаммеда, призванным распространять в мире ислам, человеком очень высоких духовных качеств – *Н.Н.*) Вся моя жизнь должна предстать, как на ладони, и я хочу успеть прочесть "Тамерлан-намэ" до того, как гурии позовут меня к себе в мой небесный гарем".

Но правды ли о своих злодеяниях желает эмир? Вряд ли, он хочет только убедительного правдоподобия, которое выразилось бы прежде всего в авторском стиле повествования. Ему якобы не нравится велеречивость Гайасаддина Али, автора обширного сочине-

ния "Дневник похода Тамерлана в Индию", хотя он благосклонен к нему за то, что тот придумал для него титул "прибежище вселенной". "Меня воротит, – поучает он, – когда я читаю у него: "Он препоясался мечом негодования и, вскочив на коня гнева, воспылал пламенем возмездия, а потом поехал по тропе казни и стал насыщать муравья своей сабли зернами сердец неверных, обогащая острие меча жемчужной стали жемчугом душ врагов своих". Вывод, который делает из поучений Тимура Искендер, заключается в том, что страницы правды о военных делах должны "пахнуть кровью, дымом и конским потом". Но эта правда должна быть строго дозирована и никогда не касаться истинных побуждений эмира, его лицемерия, беспринципности, жестокости. Правда о Тимуре – это смерть.

Однако Искендер пишет правдивую книгу для потомков о подлинной жизни злодея, пишет исчезающими на бумажном листе чернилами, привезенными ему из далекой Кастилии.

Кем же он был на самом деле – "прибежище вселенной"? Предание гласит, что его мать "не могла выкормить младенца, потому что он родился с зубами и грыз ей сосцы. Только старая слепая волчица, приученная Тарагаем (отцом Тамерлана – *Н.Н.*), сумела вскормить новорожденного, и, вскормленный волчьим молоком, сызмальства заимел он нрав волчий, алчный до зверств и кровавых игрищ. Оттого же, что так долго питался он молоком волчицы, Тамерлан до трех лет ходил на четвереньках и не говорил, а только рычал". Впрочем, – поясняет летописец, – так говорит предание, возможно, далекое от истины.

Да, истину о Тимуре мы, пожалуй, не узнаем уже никогда. Не верить же тем, кто призвал правительство страны освятить целый год в жизни народа его именем. Но жестокость Тимура, его патологическое изуверство по отношению не только к отдельным людям, но и к целым народам в сочетании с пронзительным умом, знанием психологии своей челяди, умением облекать мысли в ясную, понятную всем форму, – делают его исторический образ устрашающим. Его решения прямы и просты. Послу китайского императора он резко бросает: "Он (император Китая – *Н.Н.*) вор и враг мне, а ты – его посланник. Значит, ты тоже разбойник и вор. Сейчас ты сидишь за лучшим дастарханом в мире, но это не значит, что через минуту ты не будешь болтаться в петле, как паршивая собака. Поэтому сиди и будь счастлив, если сегодня останешься жив".

Посол не будет болтаться в петле, но его сопровождению (а это 300 человек – *Н.Н.*) отрубят головы и выстроят башню – во устрашение всем, кто только помыслит помериться силой с непобедимым эмиром.

Злопамятность Тимура –особая тема романа Сегеня. Тимур был хром, одна из его рук не сгибалась. И через двадцать лет, взяв город Зеренч и собрав народ сецстанский, он

объявил свою волю: покуда не выдадут ему виновников его увечья, каждый день по сто человек казнить – связанными класть, будто кирпичи, и поливать сырой известью. С каждым днем башня из казненных росла. Но не удалось, – пишет историк, – высокую башню из людей построить, на четвертый день явились к нему двое. "Моя стрела, государь, твою ногу перешибла двадцать лет назад. Добро, – ответил Тамерлан. – Вижу я, что вы люди смелые и не боитесь понести кару, чтобы народ ваш не сокращался". И приказал первому отсечь руки, а второму – ноги.

Читая роман, мы ужаснемся зрелищу, рисующему взятие столицы Индии – Дели. Чагатаи взяли в полон сто тысяч аманатов, о которых сказано было султану Махмуду, что если он добром и по своей воле отдастся во власть завоевателей, то аманатам – жизнь, ежели же он будет противиться, то всех аманатов – под ноги. Но все пленники были зарезаны. Злодей же только посмеивался, говоря: "Каков смысл жизни был этих жалких огнепоклонников? Утопая в разврате безверия, они все отправились бы во ад… Я же мечом своим, срубив им всем головы, сразу сто тысяч человек отправил в райское блаженство. Кто я после этого – убийца или праведник?"

Тимур, провозгласивший себя "мечом аллаха", на деле был суеверен, как последний язычник. Его сны, а он им верил, разгадывали многочисленные советники-толкователи. Они листали древние книги, высчитывая по звездам и разным рисункам истинные намерения правителя, чтобы раболепно подтвердить его волю.

Еще одно свидетельство суеверности Тимура – страницы романа, описывающие знамение, явившееся завоевателям во время похода на Русь и ставшее причиной остановки этого похода. Тамерлан вел 400 тысяч храбрецов-разбойников, скованных железной дисциплиной (напомним, что за 15 лет до того Мамай вел 150 тысяч воинов). Он уже взял Елец, умертвил и поработил его жителей и повел свои тумены по берегу Дона, стремясь к Куликову полю. Но вдруг "из тумана выбежал белоснежный жеребенок. Правая передняя и правая задняя ноги у него болтались будто неживые, а скакал он чудесным образом на передней левой и задней левой, на двух ногах только. И горло у этого жеребенка было перерезано, и кровь огненно-алая струилась из раны, выплескиваясь на траву перед ногами коней Тамерлановой рати. Проскакал он в виду всего строя войск, будто земли не касаясь копытами, и бросился в воду Дона-реки.

Видя такое знамение, Тамерлан мрачно задумался, и тут уж сказал всему своему воинству: "Се дурной знак. Поворачиваем вспять, идем назад в земли свои, в Самаркандгород".

Роман Сегеня публицистичен в хорошем смысле этого слова. Он чем-то напоминает публицистику военных лет, когда в обрисовке фашизма присутствовал только черный

цвет, – иного не могло и быть. В отличие от Бородина, решившего "исследовать причины, ставящие подобную личность во главе государства", Сегень преследует только одну цель – раскрыть патологию личности, увлекшей за собою миллионы, и вызвать к ней отвращение. Тем более, что современная обстановка в ряде регионов мира, в том числе в России, дает благодатнейший материал для раздумий.

Удалось ли это автору? Думаю, да. Вдумаемся в следующие строки романа: "Лицо больного властелина, и так-то во сне всегда особенно неприятное, теперь было просто отвратительным – опухшее, сырое, с загноившимися в уголках глазами, большеротое, темное, как у демона. Нет, вопреки ожиданиям писца, он еще не умер, еще был жив и дышал, но трупный запах действительно исходил от него, едкий и тошнотворный". Тимур при смерти. Он надоел всем, даже близким. От зловония, наполнившего комнату, тошнит всех окружающих – многочисленных слуг, юных жен, которые изменяют ему с нукерами, и эта вонь пробивается даже сквозь аромат пахучего розового масла, которым до краев наполнена его ванна. Смерти эмира ждут. И наконец, она наступает. Но не приносит умиротворения и сострадания к человеку, ушедшему в вечность.

Тамерлан и мертвый вызывает отвращение. Он тайно погребен в склепе сына, Магомет-Султана. "По прошествии трех дней после погребения в гробнице стал слышен вой, будто собачий. И каждую ночь на разные голоса тот страшный вой и рев продолжался, покуда не решили извлечь гроб". Тимур был погребен вторично, с новыми почестями. "Однако и на сей раз из гробницы стали доноситься дикие завывания, крики и возгласы, будто черти драли с поганого царя кожу крючьями, а он от боли кричал". И третий раз "зловонный труп деда своего Халиль-Султан провел через огонь и воду и затем, заново умаслив и натерев благовониями, с пышными почестями захоронил".

Сын Тамерлана Шахрух безжалостно ограбил мавзолей Тимура. "Скромность, а не пышность дает представление о величественности," – сказал он и велел убрать из усыпальницы все золото, серебро, драгоценные украшения, ковры и шелка, забрав это в свою казну, а останки отца переместил в простенький деревянный гроб.

После кощунства, совершенного Шахрухом, – пишет автор в эпилоге, – никто не осмеливался нарушить покой Тамерлана. Так продолжалось целых пять столетий.

В мае 1941 года Михаил Михайлович Герасимов, антрополог, археолог и скульптор, прославившийся на весь мир работами по восстановлению облика людей древности на основе костей скелета, начал исследования в мавзолее Гур-Эмир – самаркандской усыпальнице тимуридов. Были вскрыты захоронения Мухаммед-Султана, Шахруха, Мируншаха, Улугбека и, наконец, самого Тамерлана. В погребальной камере, расположенной под массивной известковой плитой, покрытой тонким слоем оникса, был найден деревянный

гроб, окутанный остатками темно-синего парчового покрывала с вытканными на нем серебряной нитью изречениями из Корана. В гробу был развалившийся скелет и сильно пахло камфарой. Голова с сохранившимися волосами, усами, бородой и бровями была повернута в сторону Мекки. Бросались в глаза диспропорции фигуры, – одно плечо выше другого, уродливые правая рука и нога, так что при жизни этот человек явно не мог сгибать руку в локте, а ногу в колене. Был вычислен и рост Тамерлана – около 170 сантиметров.

На этом, кажется, можно поставить точку, но что-то явно недосказано.

Может быть, нет четкого ответа на вопрос – для чего автор (да и не он один) в наши дни обратился к далекой истории, создав образ средневекового азиатского злодея? Трудно ответить на этот вопрос, проникнуть в глубины авторского замысла. Но в памяти всплывают слова знаменитого русского историка В.О. Ключевского о бешеной тройке истории, осадившей лошадь перед плетущимся через дорогу ребенком. Это не сотворилось, – писал историк, а выработалось, стоило многих трудов, ошибок, вдохновенных замыслов и разочарований. И, вероятно, задача художника – оживить эти бесчисленные "труды, ошибки, вдохновенные замыслы и разочарования", через которые прошли предки, и в зеркале истори увидеть нынешние дни. Сегодня люди вновь и вновь сталкиваются с опасным и драматическим явлением: перед бешеной тройкой появляется беспомощный ребенок. Способен ли крик души художника остановить ее? Способно ли искусство защитить идеалы гуманизма и добра?..

ЛИТЕРАТУРА

1. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 20. С. 118.
2. Олег Рашидов. А бизнесмены в Узбекистане едят собак. Портрет явления: русские бегут // Комс. Правда. 1999. 18 нояб.
3. Александр Сегень. Тамерлан // Роман-газета. 1997. № 16.
4. Ч. Гусейнов. Вечен труд зодчих // Лит. газета. 1973. 18 апреля.
5. Вопросы истории. 1973, № 2. С. 3-20; История СССР. 1973. № 5. С. 83–90.
6. Вопросы научного атеизма. Вып. 14. М., 1973. С. 14.
7. Дружба народов. 1971, № 10. С. 264.
8. С. М. Петров. Советский исторический роман // М., 1958. С. 449.
9. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. VI. С. 184.
10. Вопросы литературы. 1974. № 3. С. 21.

ВОЗВРАЩЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Перечитывая выступление Д.С. Лихачева на VIII съезде Союза писателей СССР (июнь 1986 года), невольно ловишь себя на мысли, – не эта ли речь явилась точкой отсчета той освежающей струи в современном литературном процессе, которую назовут "возвращенной литературой?"

"Я буду говорить, – сказал Лихачев, – о нашем литературном наследии и об отношении к нашему литературному наследию тех, у кого мы учимся. Мы издаем мало и бессистемно" [1]. А ведь если мы не будем по-настоящему чтить память наших духовных предков, подчеркнул Д.С., – забудут и нас. Он напомнил делегатам съезда, что у нас нет полного собрания Лескова – нашего замечательного учителя по языку. Не изданы сочинения Аввакума. Нет больших академических сочинений Лермонтова, Гоголя. (Напомню, что "Выбранные места из переписки с друзьями" Н.В. Гоголя будут переизданы только в 1990 году). Не издана "История государства Российского". "А ведь это, помимо всего прочего, – отметил Лихачев, – великолепное литературное произведение. Это произведение – подвиг". (Оно появитсяв 1988-89 годах на страницах журнала Москва).

Нет надобности перечислять все, названные Лихачевым, имена и книги. Лейтмотив его выступления – память должна быть действенной. Ей нужны пристанища, она не может быть бесприютной.

И произошло почти чудо: вскоре после этого выступления, стали выходить в свет произведения, не известные дотоле российскому читателю. Это и была так называемая "возвращенная" литература.

Впрочем, обо всем по порядку.

№2 журнала "Знамя" и №3 "Нового мира" за 1987 год открылись поэмой А. Твардовского "По праву памяти". Как отмечается в редакционном предисловии, Александр Трифонович работал над этой поэмой в 1966-1969 годах. Поэма, мыслившаяся автором первоначально как одна из "дополнительных" глав к поэме "За далью даль", была закончена и подготовлена им самим к печати за два года до смерти.

Лейтмотивом поэмы могут, на наш взгляд, служить следующие строки:

"Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу…"

Поэма, (сам автор, верный понятиям литературной скромности, назвал это произведение стихотворным циклом), – это лирические раздумья о драматической судьбе поколения, когда "страх… обучал хранить безмолвье перед разгулом недобра …велел в безгласной нашей доле на мысль в спецсектор сдать права".

Это не только продолжение переоценки автором сталинской эпохи, что отразилось в его последних произведениях, но и лирическое ожиданье откровения, истины, человечности. В последних строках поэмы автор обращается как к критерию высшего суда истории, – к Ленину.

И наготове вздох особый –
Дерзанья нашего предел:
Вот если б Ленин встал из гроба,
На все, что стало, поглядел…

Уж он за всеми мелочами
Узрел бы ширь и глубину.
А может быть, пожал плечами
И обронил бы: – Ну и ну! –

Но все, что встало или станет,
Не сдать, не сбыть нам с рук своих,
И Ленин нас судить не встанет:
Он был не богом и в живых.

А вы, что ныне наровите
Вернуть былую благодать,
Так вы уж Сталина зовите –
Он богом был –
Он может встать.

В 1986 году был, наконец, напеатан роман А. Бека "Новое назначение", написанный еще в начале 60-х годов [2]. Появление еговызвало многочисленные отклики в печати, причем не только писателей (предисловие к нему написал Г. Бакланов) и литературных критиков, но и людей науки. Почему же роман, воскрешающий события, на первый взгляд, ставшие достоянием истории (упразднение министерств, создание совнархозов, связанный с этим перевод главного героя произведения Онисимова – председателя созданного воображением писателя Государственного комитета по делам металлургии и топлива, рядом с которым живут и действуют в основном не вымышленные лица, а руководители тех лет – Орджоникидзе, Тевосян, Сталин, Берия – на должность посла) оказался прямо причастным к проблемам перестройки?

"Роман Бека замечателен правдой. А правда – это не только успехи. Бек сумел показать нам нечто не менее важное: неизбежность, необходимость отказа от Административной Системы и начало первой попытки ее реформы в середине пятидесятых годов. В этом, казалось бы, несокрушимом в своей логичности и цельности механизме абсолютно закономерно возникают внутренние коллизии, сбои или, говоря словами писателя, "ошибки".

Эта цитата взята из рецензии, а точнее сказать, из размышлений экономиста, а впоследствии – видного политика Г. Попова [3]. В своих размышлениях автор на основе образов и событий романа анализирует административный стиль, сбои в управлении, в научно-техническом прогрессе, кризис всей тогдашней системы. Рассуждения автора суровы и жестки, как жестка Административная Система (этот авторский термин, кстати, стал широко распространенным не только в публицистике, но и в политике), где фактор личной ненависти, действует в полной мере. Если все зависит от верхов, то нельзя упускать

ни малейшей возможности укрепить свое положение. Наверху также надо полностью контролировать подчиненную себе часть системы.

В итоге эта система не может воспроизводить нужных себе руководителей. Она обречена на то, что каждое новое назначение будет хоть на вершок, но хуже предыдущего решения. Найти нужные для нее кадры все труднее и труднее.

Есть в книге А. Бека еще один слой. Она показывает, как личность калечится системой, где роль людей, даже стоящих на весьма высоких ступеньках лестницы управления, сведена к роли винтиков огромного государственного механизма. Дело даже не в противоестественном образе жизни, в том числе и лично Онисимова. Вопрос гораздо серьезнее: под воздействием Административной Системы он из активного борца за социализм, коммуниста-подпольщика превращается в тормоз научно-технического прогресса, поступательного движения экономики, а его жизнь и деятельность противоречат самой социалистической идее, которая своим центром объявила человека, его духовный мир и нравственный облик.

Административная Система, – пишал Г. Попов, – вовсе не синоним социалистической системы, она никогда не охватывала весь наш строй, это один из преходящих этапов. И проблема состоит в том, чтобы отказаться от нее, заменив ее на новую систему, опирающуюся не на администрирование, а на экономические и демократические методы и формы.

Многие, – пишал Г. Попов, – тоскуют по временам, как им кажется, образцового порядка. Но немногие задумываются, что истинные корни всех негативных явлений последних лет лежали именно в Административной Системе, они росли и пускали все новые побеги именно в те годы, когда эта система процветала и укреплялась. Именно тогда, в те годы, возник никак не свойственный идеалам социализма разлад между словом и делом – благодатная почва для очковтирательства, приписок, обмана государства, незаконного присвоения незаработанных денег и благ.

Вот почему сегодня волнует нас судьба героя романа Онисимова, – писал Г. Попов. Ведь и сегодня есть опасность утопить дело перестройки, принять, как это сделал Онисимов, намерения за дела, слова – за реальные изменения, изменения форм – за перестройку сущности. А. Бек предостерегал всех нас от такой опасности, – серьезнейшей ошибки.

Большой поток публикаций вызвала повесть Д. Гранина "Зубр", рассказывающая о жизни замечательного ученого Н.В. Тимофеева-Ресовского. Сложный характер, трудная судьба героя вызвала противоречивые, неоднозначные оценки. В. Бондаренко, обращаясь к автору повести, сформулировал свой вопрос следующим образом: "Хочу автора прямо

спросить, советским гражданином был Зубр все годы войны или нет? Не по законам совести, а хотя бы просто по юридическим законам?" [4].

Критик имел в виду судьбу ученого, работавшего в те годы в Германии, и чья лаборатория послужила укрытием для целого ряда людей, включая граждан нашей страны, от нацистов. Убедительные контраргументы автору статьи представили ученые – академик В. Струнников, А. Яблоков, В. Иванов [5]. Данные, которые содержатся в письме, убедительно восстанавливают честь замечательного ученого, которым по праву гордится российская и мировая наука.

Книга Гранина – о драматической судьбе не только его героя, но и всей отечественной науки в труднейшие годы сталинщины. В ней подняты вопросы великой ответственности ученого перед обществом, забота о будущем науки.

"Интерес к истории огромен, она – живой пример и опыт. Любое слово неправды здесь губительно, особенно для молодого поколения, которому предстоит эту историю продолжать. Я не могу отвечать за историческую науку, но гражданский долг писателя вижу в том, чтобы помочь людям докопаться до истины, иногда неприглядной".

Так изложил свою гражданскую позицию Анатолий Рыбаков после того как в 1987 году был, наконец, напечатан его роман "Дети Арбата" – через два десятилетия после того, как он был написан.

Общественный резонанс, вызванный появлением этого романа, был очень высок. Время действия – 1934 год. Убийство Кирова. Начало репрессий. Герои книг – простые смертные и люди высших эшелонов власти: Сталин и его окружение.

"Сегодня я вспоминаю годы, которые описываю в "Детях Арбата", как ключ к осознанию явлений современной жизни. То было время великих свершений, но и великих трагедий. Высокого энтузиазма и страшных драм. Застой на рубеже 70-80-х годов не свалился с неба. Это продолжение той психологической обстановки, которая сложилась именно в тридцатые годы, когда людей отучали самостоятельно мыслить (за всех думал один человек), лишали инициативы, чувства собственного достоинства. То есть всего того, без чего невозможен ни духовный, ни социальный, ни экономический процесс. И что мы сейчас с таким трудом стараемся возродить".

В этих авторских размышлениях – ключ к осознанию глубинных причин обращения писателей к сложным и драматическим явлениям в истории советского общества.

В 1988 году вышла первая часть второй книги Рыбакова "Тридцать пятый и другие годы", а в 1990 году – вторая часть романа, который автор назвал "Страх".

В этом романе действие начинается в январе и кончается в июле 1937-го. Герой "Детей Арбата" Саша выходит на свободу, – правда, он не имеет права жить в больших

городах и скитается по России. Через его скитания автор представил панораму страны, показал, как жил народ в том страшном году.

В романе выведен Сталин. Из процессов 37-го года раскрывается только один процесс – Тухачевского и других военных. Этот процесс, как и другие, был закрытым, стенограмма его не публиковалась, и о нем мало что у нас известно. Автор специально ездил в Париж, в Германию, в США, знакомился там с материалами и представил в романе свою версию событий.

Последние годы Рыбаков работал над третьей, завершающей книгой своей трилогии. Вот какон рассказывал о замысле романа:

"Мои главные герои – на войне. Роман я начинаю с 44-го года, а "Страх" кончается в 37-м. И таким образом получается как бы пробел в семь лет. Я хотел показать их ретроспективно. Но среди них – 39-й, когда был заключен пакт Риббентропа-Молотова. Поскольку я пытаюсь в своих романах исследовать феномен тирании и образ тирана, то мне интересны и Сталин, и Гитлер. Уже в "Страхе" – тот, кто будет его читать, это увидит – довольно много места отведено Гитлеру. Но он показан отраженно – в рассуждениях Сталина. Сталин тогда шел на этот союз, на этот пакт. И он размышляет, в частности в связи с процессом Тухачевского, о некоторых действиях Гитлера. Отражение к 39-му году дает возможность поставить эти фигуры рядом, дает возможность для психологического исследования этой пары – Гитлер и Сталин. Вынуть ретроспекцию из нового романа о войне и написать еще один – предвоенный, конечно, очень заманчиво, но не знаю, получится ли. Я тороплюсь. Мне 80 лет. Это возраст, когда человек должен заканчивать все дела, а я начал новый большой роман и хочу все-таки завершить эту эпопею.

Меня спрашивают иногда: если бы вы стали составителем своего собрания сочинений, все ли написанное вы включили бы в него сегодня? Ни от чего из написанного мной не отказываюсь. Я никогда не лгал, нигде не фальшивил. Я пришел в литературу поздно. Когда вышла моя первая книга, мне было 37 лет. Я начал писать свою историю, биографию своего поколения, а мое поколение – это дети революции, они свято верили в нее, верили в социальную справедливость, в интернационал. И я хотел изобразить их такими, какими они были в действительности. Я пишу о том, как мы должны извлекать уроки из истории, и не только из своей истории" [6].

Литература и нравственное здоровье общества… Это не просто. Второе механически из первого не выводится. Предоставим слово писателям, приведем несколько их суждений, выскахзанных в конце 80-х гг.

На вопрос "Что вы думаете сегодня о нравственном состоянии общества? И как, по-вашему, – способен ли писатель влиять на него?" – Борис Можаев ответил: "Думаю, что

чем дальше, тем все больше наше общество обретает активность и зрелость. Люди остро интересуются историей страны, которая долго была под запретом, интересуются экономикой. Их беспокоит падение нравственности… Два слова насчет того, способен ли писатель повлиять на общество. И да, и нет. Обязанность писателя – ставить вопросы, а решать их или не решать – это уж обязанность самого общества. Издавна на Руси сложилось так, что писатель должен служить обществу, невзирая ни на что. Если он это делает – он писатель истинный, если нет – то в его истины я не верю".

Не будем судить, прав ли писатель. Тем более что в начале книги приводились другие мнения. Но в том-то и сложность литературного процесса, как одной из движущих пружин жизни общества, что можаевское "и да, и нет" затрагивает сложный механизм диалектической связи общественного сознания и социально-политической жизни общества.

Выше говорилось о литературе 1987 года, о яростных спорах вокруг частично названных А. Приставкиным именах и произведениях. Поговорим о произведениях, увидевших свет в 1988 году. И прежде всего о тех, где изломы нравственности, порожденные клокочущим потоком революции, отразились на судьбе крупнейших представителей отечественной культуры – Горького и Шаляпина.

В книгу "Несвоевременные мысли" вернувшуюся к читателю в 1988 г., вошли публицистические произведения Горького, печатавшиеся с апреля 1917 по июнь 1918 года в газете "Новая жизнь". Долгое время не только толковать статьи из этого цикла, но и упоминать их было немыслимой смелостью. Этот цикл статей – своеобразная летопись революции, дневник (естественно, очень субъективный) перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Именно "Несвоевременные мысли" показывают, что Горький видел революцию со всей ее сложностью, жестокостью, безумством братоубийственной бойни , а вместе с тем и робко брезжущей надеждой на рождение государства добра и справедливости.

"Можно считать, что в "Несвоевременных мыслях", – писал А. Овчаренко, – уже заложены начала различных линий правдивого отражения революции в России. Это и трагический "Тихий Дон", – не скрывающие действительной сложности русской революции произведения Дорохова, Зазубрина, Бабеля, Тарасова-Родионова, Артема Веселого, Вячеслава Шишкова, а также "Чевенгур" Платонова, "Доктор Живаго" Пастернака. С этих страниц Горький встает перед нами в полный рост, величественный в своем страдании, бесстрашный в своей борьбе, трагический в своих заблуждениях" [7].

"В современных условиях русской жизни, – писал Горький, – нет места для социальной революции, ибо нельзя же по щучьему велению сделать социалистами 85 процентов

крестьянского населения страны, среди которого несколько десятков миллионов инородцев-кочевников". Он считал, что социалистической революции должен предшествовать период культурного строительства, создание условий для духовного возрождения народа, "развития интеллектуальных сил страны".

Исходя из этого, он не соглашался с теми, кто путь к возрождению видел в углублении и расширении революции, в подъеме ее на следующий этап развития. В этом споре главным оппонентом Горького был Ленин.

Статьи Горького охватывают тот период революции, когда еще не было достаточного опыта у ее деятелей, но в том-то и дело, что он считал невозможным, губительным допущение каких бы то ни было действий, возбуждающих в людях "все темные инстинкты", ведущих к анархии, насилию, погромам, неоправданным арестам, к власти толпы – "хлама людского", к взаимному уничтожению. Горький боится "поголовного истребления несогласномыслящих", того, что "не слишком ли легко вы бросаете в лица друг другу все эти дрянненькие обвинения в предательстве, измене, нравственном шатании?" Но уже с конца 1917 года все больше появляется в его статьях тема рождения новой России – "в эти дни чудовищных противоречий рождается Новая Россия", с которой в его публикациях возникает оптимистическая перспектива.

"Большевики? – спрашивает писатель. – Представьте себе, – ведь это тоже люди, как все мы, они рождены женщинами, звериного в них не больше, чем в каждом из нас. Лучшие из них – превосходные люди, которыми со временем будет гордиться русская история, а ваши дети, внуки будут восхищаться их энергией… большевики уже оказали русскому народу огромную услугу, сдвинув всю его массу с мертвой точки и возбудив во всей массе активное отношение к действительности, отношение, без которого наша страна погибла бы.

Она не погибнет теперь, ибо народ – ожил и в нем зреют новые силы, для которых не страшны ни безумия политических новаторов, слишком фанатизированных, ни жадность иностранных грабителей, слишком уверенных в своей непобедимости".

Осмыслить логику развития революционного процесса в России, сложность и противоречивость подчас резких его проявлений было не просто даже пролетарскому писателю Горькому, не говоря уже о многих других представителях русской передовой интеллигенции, в частности, большого друга Горького Федора Ивановича Шаляпина. Тем больший интерес представляли для читателя неизвестные у нас до 1988 года главы из книги Ф.И. Шаляпина "Маска и душа. Мои сорок лет на театрах" [8]. Книга эта, вышедшая в Париже в 1932 году, до середины 50-х годов почти не упоминалась в советской печати.

"Сегодня с высоты приобретенного опыта, обогащенного новыми знаниями о прошлом, – писали в предисловии Е. и В. Дмитриевские, – видно, что в отношении к деятелям русской культуры последовательная, основанная на уважении к достоинству личности ленинская политика осуществлялась не всегда. Социально-психологический климат первых послереволюционных лет обусловил остроту классового восприятия действительности, в искусстве в том числе".

Высокая правда искусства, гражданская и художественная свобода, понимаемые как высшие гуманитарные и общественные ценности, – это смысл всего творчества Шаляпина, определивший направленность его художественных исканий. Революцию Шаляпин воспринял прежде всего как полное раскрепощение художника, личности от социального угнетения. Однако суровая реальность утвердилась жестким диктатом новоявленного бюрократа с кобурой, гуманный смысл революционных норм грубо извращался, искажался окриком, самодурством, после которых рождались беспросветность и отчаяние: "Я все яснее видел, что никому не нужно то, что я могу делать, что никакого смысла в моей работе нет. По всей линии торжествовали взгляды… сводившиеся к тому, что кроме пролетариата никто не имеет никаких оснований существовать и что мы, актеришки ничего не понимаем… И этот дух проникал во все поры жизни, составлял самую суть советского режима в театрах. Это он убивал и замораживал ум, опустошал сердце и вселял в душу отчаяние".

Через книгу Шаляпина проходит целая плеяда видных деятелей революции – Ленин, Луначарский, Дзержинский, Сталин и другие. Они очень интересны автору. "У них есть какая-то живая сила и масса энергии…"

Шаляпин уехал из Советской России, но заплатил за это слишком высокую цену. Его судьба, с таким пронзительным чувством описанная им самим, соотносится с судьбой России, народа, с эпохой. Поэтому последнее пятнадцатилетие жизни великого артиста воспринимается не только как личная драма художника, но и как огромная потеря для России.

О том, как велось строительство Административной Системы в остро сатирической форме метафористических "ситуаций" рассказал выдающийся писатель Андрей Платонов в повестях "Котлован" (1929–1930) и "Чевенгур" (1929), которые мы прочитали только в 1987 и 1988 годах.

"Во всей России… моют полы под праздник социализма". Худые, "как умершие", мастеровые с бессознательными человеческими лицами роют котлован под "общий дом пролетариату", придуманный инженером Прушевским. "Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественно-

го города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли". "Посредством устройства дома ее (жизнь – *Н.Н.*) можно организовать впрок – для будущего неподвижного счастья и для детства". Но строительство идет медленно. Причина тому – кулаки, сельская отсталость, и лишь пролетариат "обязан за всех все выдумать и сделать вечную вещественность долгой жизни". И если "внутри всего света тоска", только в пролетариате "пятилетний план". А отсюда – "У кого в штанах лежит билет партии, тому надо беспрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда". А потому "мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтобы с него слезла шкура капитализма, и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы, и произошел бы энтузиазм!" "Эх ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо? Стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!"

И пролетариат в лице калеки Жачева "еще с утра решил, что как только эта девочка и ей подобные дети мало-мало возмужают, то он кончит всех больших жителей своей местности; он один знал, – в СССР немало населено сплошных врагов социализма, эгоистов и ехидн будущего света, и втайне утешался тем, что убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив в живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство".

При рытье котлована в обнаружившейся пещере мастерам открылись сто пустых гробов, заготовленных местными жителями впрок. "У нас каждый и живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь цельное хозяйство, " – объяснил мужик, просивший вернуть гробы хозяевам. Но тщетно: "Нам только один класс дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента". "Давно пора кончать зажиточных паразитов! – высказался Сафронов. – Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен быть: где же тогда греться активному персоналу!"

Обобществлен скот, отучившийся брать пищу, в избе-читальне организованные колхозные женщины и девушки, заучившие правильные слова, начинающиеся на букву "б": большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво-браво ленинцы!

И наконец, "для ликвидации классов организуется плот, чтоб завтрашний день кулацкий сектор ехал по речке в море и далее". Активист "с жадностью начал писать рапорт о точном исполнении мероприятия по сплошной коллективизации и о ликвидации посредством сплава на плоту кулака как класса… Дальше он попросил себе из района новую боевую компанию, чтоб местный актив работал бесперебойно и четко чертил дорогую генеральную линию вперед".

В 1988 году вышла в свет грандиозная социальная антиутопия Платонова "Чевенгур". Время действия романа – 1921год.

Н. Иванова так определила социальное звучание этого произведения: "Чевенгур" предупреждает: построение социализма вне заботы о человеке, вне знаний, вне труда, через одну лишь "идею" невозможно, невероятно".

"Чевенгур" – произведение необычное, необычны и его герои: Саша Дванов, уполномоченный губернией для поисков ростков новой жизни во глубине России, "командир полевых большевиков" Степан Копенкин, разъезжающий по России на могучей лошади Пролетарская Сила, влюбленный в Розу Люксембург и ломающий голову над вопросом – был ли товарищ Либкнехт для Розы, что мужик для бабы? Игнатий Мошонков, перекрестивший сам себя в Федора Достоевского, Чепурный, по прозвищу Японец. И, наконец, сам Чевенгур – "громадный трудовой район – и весь в коммунизме, как рыба в озере!" "В Чевенгуре за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное в Чевенгуре всемирным пролетарием. Занятия же людей были не обязательными… труд навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество – угнетению…"

В Чевенгуре отменена почта, "люди в куче живут и лично видятся". Отменены наука и просвещение. "Какая наука? Она же всей буржуазии дает обратный поворот". "В Чевенгуре не имелось бюджета, на радость губернии, полагавшей, что там жизнь идет на здоровых основах самоокупаемости".

Что же это за город Солнца – фантастически реальный Чевенгур, у руководителей которого "коммунизм стихией прет"? Впрочем, не у всех. Прокофий с Клавдией перед "вторым пришествием" обошел все дома имущих граждан и реквизировал у них браслеты, шелковые платки, золотые царские медали, девичью пудру. Мародерство возмещалось обещанием буржуям продления им жизни. Но это была ложь. Буржуи были обречены. Так будет добрей. Раз есть пролетариат, то к чему же буржуазия? И пролетариат творит кровавые дела – "чекисты ударили из нагана по безгласным, причастившимся вчера буржуям," а чуть позднее "решили дополнительно застраховать буржуев от продления жизни: они подзарядили наганы и каждому лежащему имущему человеку – в последовательном порядке – прострелили сбоку горло – через железки.

– Теперь наше дело покойнее! – отделавшись, высказался Чепурный. – Бедней мертвеца нет пролетария на свете".

Политика военного коммунизма как солнце в капле воды отразилась в образно-философской ткани произведения, как бы вглядывающегося в будущее неимущей, безжа-

лостной к себе родины, ее "бедных неприспособленных людей, дуром приспособляющих социализм к порожним местам равнины и оврагов".

Произведения, появившиеся в 1988 – это прежде всего правда о пережитом. Та правда, которую Л.Н. Толстой сформулировал в "Севастопольских рассказах" как главную цель творчества: "Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, - правда".

Такая правда дается не просто. Она – не деяние одного художника. Она может быть создана и создается только опытом и творчеством людей, объединенных идеей совершенствования общества.

Роман В. Дудинцева "Белые одежды", удостоенный Государственной премии СССР, стал настоящим общественным событием. Он – не только о таком разрушительном явлении как "лысенковщина", когда советская биология была буквально разгромлена мощными силами реакции, рядящимися под "народную науку". Роман раскрывает технологию любого массового идеологического гипноза, когда люди вольно или невольно оказываются втянутыми в кампанию травли, в атмосферу "охоты на ведьм" и по неведению, малодушию или легковерию объективно выступают на стороне зла. Это роман не только о прошлом, а и о настоящем и будущем; взывая к гражданскому чувству читателя, он требует задуматься о том, как сделать, чтобы "лысенковщина" не повторилась, чтобы истина торжествовала и добро побеждало.

"Наверное, я острее многих чувствую глубину происходящих перемен, – говорил В. Дудинцев. – Ведь еще три года назад моя книга даже не имела бы надежды появиться. А она вышла, ее читают, и, встречаясь с людьми в десятках разных аудиторий, я убеждаюсь, как сегодняшний читатель чуток к правдивому слову".

Автора больше всего беспокоит уже не опасность прямого сопротивления бюрократии, которая сплотившись, стоит "стеной". Гораздо страшнее, – размышляет он, – игра в перестройку, которую ведут взрослые люди.

Почему, – спрашивает он, – мы редко сталкиваемся с таким настроением, когда люди словно бы устают от критики? Что это – нежелание знать о негативных сторонах жизни? Нет, дело гораздо сложнее. Народ с изумлением открывает невиданную дотоле вещь: злу опять удается увернуться от нападения. Более того, зло переходит в наступление и увлекает на свою сторону тех, кто в критике видит только средство для решения каких-то отдельных задач. И если разоблачительные публикации не сопровождаются четкой информацией о том, что конкретно предпринято властями для наказания виновных, как исправляется положение, тогда и сами разоблачительные факты для них теряют ценность.

В повести А. Приставкина "Ночевала тучка золотая…", удостоенной Государственной премии СССР, также основная мысль предельно проста – дети разных национальностей легче понимают друг друга, чем иные взрослые.

"Эта книга, – сказал в одном из своих интервью автор, – мое пережитое. Я ничего не придумал, все, о чем в ней рассказано, происходило на самом деле, и волею судьбы, которая забросила наш подмосковный детский дом на Кавказ, я стал очевидцем тех далеких событий".

Двое осиротевших братьев, одиннадцатилетние Колька и Сашка "Кузьменыши" (Кузьмины) в предпоследний год войны маются в детском доме неподалеку от Москвы. Уже не за горами Победа, но в стране голод, голод и в детдоме. К тому же директор здесь (писатель нарочно назвал его подлинной фамилией – Башмаков) – мошенник и вор, а среди ребят всем заправляют "блатные", спасающиеся под этой крышей не только от голода, но и от милиции. "Сильные пожирали все, оставляя слабым крохи, мечты о крохах, забирая мелкотню в надежные сети рабства. За корочку попадали в рабство на месяц, на два".

Звездной мечтой Кузьменышей было попасть в хлеборезку. Попасть "на секундочку, на мгновение… чтобы наяву поглядеть на все превеликое богатство мира, в виде нагроможденных на столе корявых буханок. И – вдохнуть, не грудью, животом вдохнуть опьяняющий дурманящий хлебный запах… И все, все!"

Длинная цепь трагических, порою просто жутких событий пройдет перед нами, пока мы дочитаем повесть до конца. Погибнет при взрыве автомашины добрая и совсем еще юная "шоферица" Вера, к которой успели привязаться наши ребята. Едва не сойдет с ума под дулами нацеленных на нее винтовок добрая и умная воспитательница Регина Петровна, самое светлое лицо повести. И, наконец, самое жуткое – гибель Сашки, "Сашка не стоял, он висел, нацепленный под мышками на острия забора, а из живота у него выпирал пучок желтой кукурузы с развивающимися на ветру метелками. Один початок, его половина, был засунут в рот и торчал наружу толстым концом, делая выражение лица у Сашки ужасно дурашливым, даже глупым".

Неужели, – может спросить читатель, – автор столько лет вынашивал свою повесть, чтобы потрепать нам нервы такими сценами? Нет. Дети у Приставкина оказываются мудрее взрослых. В нечеловеческих условиях они оказываются способными понять друг друга. А взрослые – нет. Чеченец Алхузар, почти ровесник братьев, не только выходил Кольку, но и подружился, даже побратался с ним, согласился, чтобы Колька звал его Сашкой.

Повесть Приставкина – не для детей. Но без их участия она бы просто не состоялась. Именно страдания детей, заведомо ни в чем не повинных, помогают нам осознать

всю бесчеловечность насильственного переселения "провинившихся" народов, предпринятого Сталиным.

"Я показал тыл, – говорил А. Приставкин, – оказавшийся пострашнее войны: банды, спекуляции, насилия над детьми, жестокая система отношений… Правда – это всегда болевой шок, но на нее вся надежда. Она должна питать нашу мораль, нравственность. Сталинщина такое натворила, что расхлебывать и расхлебывать. Фальсифицировалась история, происходила подмена культурных, нравственных ценностей… и вдруг завеса с тайны слетела, и обнажилось многое из того, о чем мы не знали. Горечь, боль, разочарование, стыд, страх – какая волна чувств захлестнула нас, прозревших! Она разметала кого – налево, кого – направо. И это хорошо. Стало ясно, кто есть кто. Правда – это единственное, что вылечит наше общество, поможет делу перестройки".

Говоря о прорыве в духовной сфере в конце 80-х годов, нельзя не отметить, что некоторые рьяные критики из желания прослыть "передовиками" перестройки, готовы были низвергнуть и подлинные ценности, заключенные в творчестве В. Маяковского или М. Шолохова.

Отстаивая эти ценности А. Калинин говорил о великом романе Шолохова, что "…если теперь эту сокровищницу народной мудрости и мужества не защитить, не отстоять, то наползет в нее со всех сторон столько отъявленной мути, что потом долго придется расхлебывать ее молодому читателю".

Шолохов остается Шолоховым, несмотря на всю возню вокруг "Поднятой целины". Говорили, что это произведение написано по сговору со Сталиным в обмен на обещание поддержать публикацию задержанного изданием третьего тома "Тихого Дона. "Если сговор и был, то не сговор честнейшего художника нашего времени со Сталиным, а сговор с ленинской идеей кооперации в деревне".

Калинин говорил, что революциям обычно некогда бывает защищать своих певцов и летописцев, пока они живы. Революциям недосуг, им надо спешить, развиваться дальше. Не смогла в свое время и наша революция защитить Маяковского и Есенина. Но, может быть хотя бы после их смерти сумеет это сделать? Боюсь, – сказал писатель, – что у нее, занятой грандиозной перестройкой, опять не хватает для этого времени, и она предоставляет это тем, кто, умея собирать у ее подножия разрозненные факты, не умеет брызнуть на них "живой водой" так, чтобы воссоздать и закрепить в памяти народа во всем многообразии и многомерности ее величественный и грозный образ.

В 1988 г. был впервые опубликован и роман Б. Пастернака "Доктор Живаго". Он вызвал целый ряд откликов, в основном положительных и даже восторженных. Но были и другие мнения. Так, в "Правде" 27 апреля 1988 г. была опубликована статья Д. Урнова

"Безумное превышение своих сил". В преамбуле к статье отмечалось, что точка зрения известного критика будет принята далеко не всеми его коллегами и читателями. Всесторонняя оценка романа Б. Пастернака явится плодом коллективных усилий литературоведов, критиков, читателей, в ходе творческих дискуссий, неизбежно возникающих вокруг неординарных явлений искусства, к которым принадлежит и "Доктор Живаго". Вчитаемся в статью.

"Борис Пастернак, – писал автор, – почувствовал себя, очевидно, исторически обязанным высказаться на тему, уже, казалось бы, исчерпанную – об интеллигентском индивидуализме". Живаго, по мнению критика, – это "скрытое вычурными фразами маскируемое бездушие", "ему и в голову не приходит, что, не приемля революции, он на самом деле должен быть признателен ей: только решительное потрясение, выбитость из своей колеи придали его чувствам и переживаниям некоторые краски". Одним словом, "ни эпизода, ни момента, ни сцены, которые бы запечатлелись в памяти как яркое переживание".

С таким анализом согласиться нельзя. Я убежден, что "Доктор Живаго" – самое задушевное произведение автора, к сожалению, не оцененное современниками. Роман этот надо читать неторопливо, как стихи, выявляя его поэтический смысл, и то, что роман заканчивается одними из лучших стихов Пасрернака (якобы написанных главным героем романа) – только подтверждает это.

В романе ярко проявились философия и эстетика самого поэта, его сокровенные мысли о смысле жизни, высоком назначении искусства, о вечном и преходящем. Смею утверждать, что Пастернак первым в советской литературе сказал о приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми, на десятилетия предвосхитив новое политическое мышление. "Человек рождается жить, а не готовится к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны! Так зачем подменять ее ребяческой арлекианой незрелых выдумок".

Не отсюда ли и разочарование в идеях общественного совершенствования, как они стали пониматься с Октября, ибо "за одни еще толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства". "Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя может быть и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование – это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших тупоумных теорий".

Не отсюда ли решительное неприятие закостеневших догм марксизма, от которых мы отказались сегодня, и который "слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукою... Я не знаю течения, более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверкою себя на опыте, а люди ради басни о собственной непогрешимости отворачиваются от правды".

Кошмар мировой и гражданской войн, общественных потрясений, разрухи не отодвигают от героя писателя "даль социализма". Но этот социализм мыслится как творческий, очищенный от скверны человеческих преступлений общественный строй, ведь "с каждым случилось по две революции, одна – своя, личная, а другая – общая. Мне кажется, социализм – это море, в который должны ручьями влиться все эти свои, отдельные революции, море жизни, море самобытности".

Нам дорого в Пастернаке многое. И его мысли о единстве мировой культуры, способной поднять человека до уровня творца. И его неприязнь к высокопарной, трескучей фразе, особенно если она изрекается во имя сомнительных целей. И его высокая любовь – Россия, "несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая родительница, мученица, упрямица, сумасбродка, шалая, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть!" И, конечно, его мысли о свежем, очистительном ветре перемен. Мечтая о них и их предвидя Пастернак писал: "Человечество всегда на протяжении долгих спокойных эпох таит под бытовой поверхностью обманчивого покоя, полного сделок с совестью и подчинения неправде, большие запасы высоких нравственных требований, лелеет мечту о другой, более мужественной и чистой жизни... Но стоит... пошатнуть прочность обихода, казавшегося неотменным и вековечным, как светлые столбы тайных нравственных замечаний чудом вырываются из-под земли наружу. Люди вырастают на голову, и дивятся себе, и себя не узнают, – люди оказываются богатырями".

Думается, что во всем его многообразии и многомерности суровый и грозный образ войны запечатлен в романе "Жизнь и судьба" В. Гроссмана. Очевидно, что не последнюю роль в этом сыграло то, что автор всю войну был фронтовым корреспондентом. Он писал: "Мне пришлось видеть развалины Сталинграда, разбитый зловещей силой немецкой артиллерии первенец пятилетки – Сталинградский тракторный завод. Я видел развалины и пепел Гомеля, Чернигова, Минска и Воронежа, взорванные копры донецких шахт, подорванные домны, разрушенный Крещатик, черный дым над Одессой, обращенную в прах Варшаву и развалины харьковских улиц. Я видел горящий Орел и разрушения Курска, видел взорванные памятники, музеи и заповедные здания, видел разоренную Ясную Поляну и испепеленную Вязьму".

Писатель находился в Сталинграде с первых же дней его обороны и все дальнейшие события видел своими глазами. Эти события многое открыли ему и в понимании войны с фашизмом, и в народной жизни, и в нашем общественно-политическом строе. В условиях ожесточенных боев, достигших немыслимого упорства, на смертельном рубеже с особой резкостью проступало и то, что было нашей силой, что сплотило народ в борьбе с фашистским нашествием, и то, что подтачивало это единство – подозрительность, беззакония, бесправие. Давление накопленного материала было так велико, такой жгучей была потребность осмыслить увиденное и пережитое, понять закономерности – и социально-политические, и исторические, и общечеловеческие – дурного и хорошего, благородного и подлого, – что сразу же, по горячим следам событий в 1943 году, Гроссман в редкие свободные от газетной работы часы начал писать роман о Сталинградской битве.

Отечественная критика не раз отмечала, что это произведение связано с толстовской традицией (не зря на конференциях, в письмах в газеты и журналы постоянно возникал вопрос: "А когда будет написана "Война и мир" об этой войне?). Роман Гроссмана – произведение эпическое в истинном смысле этого определения.

Фашизм растоптал право на жизнь, на свободу. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек. Гроссман не только показывает злодеяния фашизма, его кровавую, бесчеловеческую практику, он изобличает философию, на которой все это покоится, идеологию, которая снимает моральные преграды. Писатель выступает против фашизма с общечеловеческих позиций – это зло, угрожающее роду человеческому. И он не делит зло на чужое и свое. Общечеловеческая позиция делает его непримиримым и к собственному злу: "Автора, – отметил в рецензии на роман "Жизнь и судьба" Генрих Белль, – мы всегда находим там, где ему полагается быть, – у страждущих". Поэтому и к отечественному злу Гроссман не знает снисхождения, не закрывает глаза на него, опасаясь "совпадений". Надо ли рассказывать о наших лагерях, если лагеря были у гитлеровцев, надо ли писать о тоталитаризме сталинского режима, если тоталитарный строй создали нацисты? Это вопросы не могли не встатаь перед писателем. "Правда одна. Нет двух правд. Трудно жить без правды, с обрубленной, подстриженной правдой. Часть правды – это не правда".

Это нравственное чувство, верность правде, какой бы горькой она ни была, вели писателя к изображению наших великих бед и нашего срама. Совестно было отворачиваться от них. Многое из того, что рассказано в романе "Жизнь и судьба", было закрытой зоной, куда литературе вход был строго запрещен. Нужно было огромное мужество, чтобы переступить через запрет. Не только потому, что за это можно было поплатиться, но и для того, чтобы одолеть в самом себе "внутреннего редактора", увидеть действительность без шор.

В романе предстает наша подлинная горькая и героическая история, разительно не похожая на ту, что вбивалась в сознание не одному поколению "Кратким курсом", – это тяжкий путь, который стоил народу великих жертв, миллионов загубленных жизней. Судьба не миловала персонажей романа, "не обошла тридцатым годом, – как писал А. Твардовский. – И сорок первым. И иным..."

Кровавая, безжалостная война расставляла все по своим местам, разоблачая пущенные в оборот ложные ценности, возвращала подлинные, выдвигала новых людей, не прислуживающих начальству, не выслуживающихся, а умело и толково делающих свое дело. Кульминацией сталинградских событий и высшим проявлением стремления народа к свободе в романе стала оборона дома "шесть дробь один", маленьким гарнизоном которого командует капитан Греков. "Гранатный бой, бой за этаж, бой за ступеньки, за коридоры, за метры комнат (вершки, как версты, человек – полк, каждый себе штаб, связь, огонь)". Не строгий приказ, не угроза наказания, а сознательная дисциплина, ощущаемая каждым ответственность за исход боя и судьбу страны, дух свободы, которую надо было спасти, а потом утвердить в жизни, рождали такую самостоятельность.

Генрих Белль в упомянутой рецензии писал:

"Это могучее свершение, не просто книга, это даже больше, чем несколько связанных между собой романов, у нее есть своя история и свое будущее. Сколько же еще предстоит породить исследований, статей, споров этому роману, появившемуся на свет спустя двадцать лет после того, как автор поставил точку!"

Можно полностью согласиться с мыслью Л. Лазарева, что это – переворачивающая душу книга, о многих страницах и персонажах которой можно без преувеличения оказать, что их уже не забудешь никогда, так они написаны. Но в настоящей литературе никогда не бывает тесно, и роман Гроссмана не расчищает для себя место, списывая в тираж все, что было создано раньше. Наоборот, этот роман еще раз подтверждает, что путь, по которое шли честные и талантливые писатели, осмысливая прожитые нами очень нелегкие десятилетия, был правильным и плодотворным.

В 1989 году мы прочитали еще одно произведение В. Гроссмана повесть "Все течет", написанную в 1955-1963 гг. и лишь после смерти автора опубликованную на Западе (1970). Вещь эту, писал И. Виноградов, повестью-то не назовешь – так равнодушна она даже к самым строгим канонам своего жанра. Характер главного героя, старого зэка Ивана Григорьевича, отбывшего тридцать лет лагерей, едва намечен, сюжетные скрепы в тексте почти отсутствуют, зато повесть щедро заполнена почти чистой публицистикой размышлений героя о стране и ее судьбах, причем голос героя почти неотличим от голоса самого автора [9].

Тем не менее повесть Гроссмана – живое и мощное художественное единство, живой образ некой особой реальности. Эта реальность – потрясенное состояние нашего духа, когда мы решаемся взглянуть, не отводя глаз, в темную бездну, поглотившую на долгие годы нашу страну. В ней клубятся кошмарные образы и видения, вспыхивая то жуткой сценой из жизни режимной женской каторги, то жалкой заискивающей улыбкой перепуганного доносчика, отправившего в сталинские застенки десятки своих друзей и знакомых, то обтянутыми желтой пергаментной кожей детскими скелетиками в вымирающей от голода 1932 года украинской деревне... В стремлении дойти до последней истины автор и его герой пытаются осмыслить мир этих кошмарных реалий.

Гроссман связывает судьбу России после 1917 года с давлением той традиции, которая видится ему господствующей в тысячелетней русской истории: развитие России в отличие от Запада оплодотворялась не ростом свободы, а ростом несвободы, рабства, неумолимым подавлением личности. Даже лучшие черты "русской души" обязаны своим происхождением условиям несвободы, которые формировали эту "тысячелетнюю рабу", потому-то и оказавшуюся в итоге под еще более тяжким гнетом тоталитарного режима, что в ее рабской неразвитости почти отсутствовал опыт свободы и демократии.

Гроссман приходит к выводу, что революция, совершенная "ради народа", создала государство как раз против народа – по самой сути своей антинародное. Ибо "не народу, – пишет он, – нужен был террор в девятнадцатом году, не народ уничтожил свободу печати и слова, не народу понадобилась гибель миллионов крестьян, крестьяне и есть большая часть народа, не народ набил лагеря и тюрьмы в 1937 году, не народу понадобились истребительные высылки в тайгу крымских татар, калмыков, балкарцев, обрусевших болгар и греков, чеченцев и немцев Поволжья, не народ уничтожил свободу сеять, право на рабочую стачку, не народ совершил чудовищные накидки на себестоимость товаров."

Перед Гроссманом встал и трагический вопрос, не явился ли сталинский режим завершением начатого еще при Ленине дела, когда было разогнано Учредительное собрание, ликвидированы другие партии и в основание нового государства заложен принцип диктатуры, казавшийся временным и вынужденным, но на деле ставший для него конституционным.

Еще более важно для понимания мысли автора, что его герою и после возвращения из сталинских лагерей пришлось убедиться, что "несвобода по-прежнему торжествует" в стране "от можа до можа", ибо по-прежнему "не ушла из рук партии созданная Сталиным мощь промышленности, Вооруженных Сил, карательных органов", "действует все та же система выборов, все так же окованы рабством рабочие союзы, все так же беспредельно несвободны и беспаспортны крестьяне, все так же талантливо трудится, жужжит в лакей-

ских интеллигенция великой страны", "все так же кнопочное управление державой, все та же неограниченная власть великого диспетчера"...

Исторический прогресс возможен лишь как прогресс человеческой свободы – эта мысль пронизывает всю повесть, ставя ее в ряд наиболее значительных произведений отечественной художественной мысли, делая ее современной, созвучной трудным поискам народа своей путеводной звезды в наши дни.

Заканчивая заметки о "возвращенной" литературе, приведем слова К. Симонова, из его выступления на Пятом съезде писателей СССР: "Не все легко вспоминать в своей истории. Но как без этого? Как без полного знания всего, что было в истории, понимать душу своего народа, меру его стойкости, запас его нравственных сил? Да, вся история твоей Родины принадлежит тебе! И Ледовое побоище – твое, и Куликовская битва – твоя. И разорение русской земли – тоже твое. И смутное время – твое. Ты, сын своего народа, должен знать и помнить все! Исторические хрестоматии, где в заголовках одни победы, а все, что между ними, – петитом или скороговоркой, тебе ни к чему, хотя в истории твоей Родины побед действительно много. И помнить об этом – тоже нелишне" [10].

Лучше не скажешь.

ЛИТЕРАТУРА

1. Восьмой съезд писателей СССР: Стенографический отчет // М.: Сов. писатель, 1988. С. 364.
2. А. Бек. Новое назначение // Знамя. 1986. № 10-11.
3. Г. Попов. С точки зрения экономиста // Наука и жизнь. 1987. № 6.
4. В. Бондаренко. Очерки литературных нравов // М., 1987.
5. Необоснованные обвинения // Лит. газета. 1988. 27 янв.
6. Лит. газета. 1991. 16 янв.
7. Александр Овчаренко. О несвоевременных мыслях М. Горького // Лит. газета. 1988. 14 сент.
8. Новый мир. 1988. № 5-6.
9. И. Виноградов. Особый путь // Моск. новости. 1989. 17 сент.
10. К. Симонов. Уроки истории и долг писателя // Наука и жизнь. 1987. № 6.

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ И А. СОЛЖЕНИЦЫН

Когда мы говорим о русском литературном зарубежье, в сознании вспыхивают имена И. Бунина, В. Набокова, И. Шмелева, М. Алданова, Д. Мережковского и других крупных представителей отечественной культуры, сегодня широко известных российскому читателю. Но это первая волна эмиграции. Наш разговор пойдет о третьей волне.

Напомним примечательный и несомненно мужественный поступок коллегии "Московских новостей", опубликовавшей в 1987 году письмо группы русских эмигрантов, перепечатанное из французской газеты "Фигаро". Письмо называлось вызывающе: "Пусть Горбачев предоставит нам доказательства" [1]. Его подписали В. Буковский, Ю. Орлов, Л. Плющ, В. Аксенов, В. Максимов, А. и О. Зиновьевы, Ю. Любимов, Э. Неизвестный. Письмо это, адресованное властям, поднимало острейшие социально-политические и нравственные проблемы нашего общества. Чего стоят только наименования разделов письма: "Афганистан и мы", "За подлинную гласность", "Если хотят, чтобы мы вернулись", "Барьер идеологии", "Болезнь режима". Процитируем некоторые мысли письма из раздела "Если хотят, чтобы мы вернулись", ибо они имеют прямое отношение к нашей теме.

"Нам стало известно, что советские представители вступали в контакт с некоторыми видными деятелями культуры, живущими в эмиграции, предлагая им вернуться "домой", словно бы речь шла о блудных детях, обещая, что "прошлое будет забыто". Очевидно, советские власти до сих пор не в состоянии понять, что эмиграция – результат не какого-то трагического недоразумения, а глубоких расхождений с режимом, не способным уважать свободу творчества. …Кто, например, мешает им издавать наши книги, записывать наши пластинки, показывать наши фильмы и спектакли, выставлять наши картины и скульптуры? Тогда почему они не начали именно с этого, вместо того чтобы обещать свое "прощение", в котором никто не нуждается? Все, о чем их просят, это просто отойти немного в сторону и дать зрителям, слушателям, читателям в СССР самим выбрать то, что им нравится. Тогда и только тогда мы сможем провести открытый диалог с властями, а не сомнительные переговоры на черной лестнице".

Однако опасения эмигрантов оказались напрасными. Их пригласили не к переговорам на черной лестнице, к открытому и честному диалогу, широко знакомя читателей с их творчеством.

В этом отношении показательна акция, проведенная журналом "Иностранная литература" [2], который обратился с анкетой к целому ряду писателей-эмигрантов. В анкете было четыре вопроса:

I. Как Вы оцениваете феномен "литературы зарубежья": замкнутая ли это система, часть ли советской литературы или она принадлежит культуре страны, в которой живет писатель?

2. Что из написанного Вами – в Советском Союзе или в эмиграции – наиболее Вам дорого?

3. Что, на Ваш взгляд, было самым ярким событием в мировой литературе последних лет?

4. Следите ли Вы за литературной жизнью в СССР? Какие из недавних публикаций привлекли Ваше внимание?

На вопросы анкеты ответили: А. Синявский, Г. Владимов, В. Войнович, Н. Коржавин, А. Зиновьев, В. Аксенов, Е. Эткинд, Л. Копелев, Р. Орлова, И. Одоевцева, С. Довлатов, А. Цветков [3].

Напомним, что это было начало 1989 года. С тех пор многое изменилось, а в то время сближение только начиналось.

Приведем обширную цитату из размышлений главного редактора журнала Чингиза Айтматова по поводу ответов писателей на вопросы анкеты:

"Иные из этих писателей были когда-то известны и даже знамениты у себя дома. Потом исчезли на долгие годы из нашей культуры, оставшись разве героями разносных фельетонов. Других словно и вовсе не было: Запад их знал, мы, соотечественники, не знали. Они сделались изгоями. Но мысль не может быть изгоем.

Сегодня мы ощущаем это с особенной остротой. Еще недавно мы пребывали в крепости идейного абсолютизма. Нам катастрофически не хватало внутренней свободы, которая признает разнообразие талантов и позиций, а ведь культура – это прежде всего разнообразие. Нам недоставало политической и духовной зрелости, наша мысль была слишком дисциплинирована и робка, она боялась испытать себя другой мыслью. Это имело трагические последствия. Писатели, со многими из которых я знаком лично, были изгнаны из страны.

Сейчас, в весеннюю пору возрождения, обновления духа, мы отвоевываем право думать независимо, сомневаться, надеяться. Об этом свидетельствует и предпринимаемая журналом публикация. Факт, может, и не великий, но говорит о многом. Не обязательно соглашаться, но чести не делает, если инакомыслие становится поводом для гонения. С болью думаю, что не впервые выпадает такая доля русским писателям; прежняя наша, дореволюционная, история напоминает об этом. И движение, к несчастью, шло в одном направлении – с Востока на Запад. Полагаю, эта горькая реальность поучительна: надо не

спеша, не горячась, не навешивая обидных ярлыков, задуматься, разобраться, отчего такое становится возможным.

А для начала следует твердо отдать себе отчет: человек, думающий иначе, чем ты, – не враг. Если по-прежнему мы будем цепляться за обветшавшую максиму: "кто не с нами, тот против нас", – не будет счастья на земле, а будет взаимоистребление, дай бог если только моральное. Надо учиться и научиться терпимости, надо уметь не только говорить, но и слушать. А уже выслушав – обсуждать и, если нужно, спорить. Фанатизм веры чреват губительными последствиями, веротерпимость благотворна – прошлое напоминает и об этом. Едва ли не впервые в истории нашей гуманитарной культуры мы стремимся завязать подлинный, равноправный диалог, отказываясь от монополии на истину. Только в совокупности, в полноте своей дух человеческий плодотворен.

Вот о чем я думаю, читая отклики писателей на анкету, разосланную журналом. В полученных ответах нет ненависти к своему Отечеству, и я радуюсь этому. Есть боль, есть непонимание. Но разве может быть иначе?" [3]

Итак, что же представляет собой литература "русского зарубежья"? Замкнутая ли эта система, часть ли советской литературы или она принадлежит культуре страны, в которой живет писатель?

Всякая национальная литература в своей основе едина, считает А. Синявский, несмотря на различия писательских судеб, позиций, взглядов. Не так уж важно, где находится в данный момент тело писателя, если духом и языком он связан с родной словесностью.

Есть единая русская литература, убежден В. Войнович. Принадлежит она русской культуре, а в некоторых случаях и мировой.

Особенно аргументированно и образно ответил на вопросы анкеты Е. Эткинд. Остановимся подробно на его размышлениях.

Нас долго приучали видеть в искусстве продукт классовой борьбы и считать все вечное, надклассовое – вредным идеализмом, писал Е. Этконд. С такой точки зрения эмиграция, которая скопом считалась социально-чуждой и политически-враждебной, представляла собой литературный лагерь, никакого отношения к русской литературе в СССР не имевший.

Маяковский писал, обращаясь к Горькому, в 1926 году:

... Вы в Европе,
где каждый из граждан
смердит покоем,
жратвой,
валютцей!
Не чище ль
наш воздух,
разряженный дважды

грозою
двух революций!

Как всегда, стих блестящий, – подчеркивает автор, – чего стоит только рифма: "валютцей-революций"! Однако именно рифма и содержит столкновение мнимых противоположностей: с одной стороны – презренные лжеценности буржуазного мира, "каждый из граждан смердит покоем, жратвой, валютцей", с другой, – величие социалистической действительности.

Так от души считали "идеологи пролетариата" в 1926 году: Запад – это буржуазное болото, распад, гниение**.** В том же стихотворении о Шаляпине сказано:

Вернись
теперь
такой артист
назад
на русские рублики –
Я первый крикну:
– Обратно катись,
Народный артист Республики!..

Так в ту пору относились к русским людям на Западе – и кто: Маяковский! И к кому – к Горькому и Шаляпину! В стихотворении о Шаляпине Маяковский бросит ставшую крылатой страшноватую фразочку: "тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас". "Поет не с нами" – это ведь сказано даже не о Вертинском или Игоре Северянине (и о них не следовало бы), а о Федоре Ивановиче Шаляпине, признанном теперь гордостью России.

Эмиграция первой волны была в основном классовой. Эмиграция – но не литература. Литература была и осталась русской. Общенациональной. Неразделимой ни на пролетарскую и буржуазную, ни на интеллигентскую и дворянскую, ни на восточнорусскую и западнорусскую. Судьба писателей складывалась по-разному, это не меняло лицо русской литературы. Многолетняя политическая эмиграция Герцена и Огарева, жизнь Гоголя в Италии или Тургенева во Франции не привели к возникновению второй и третьей русской литературы. И когда мы называем имена В. Ходасевича, М. Цветаевой, И. Бунина, Г. Иванова, Б. Поплавского, И. Одоевцевой, Вячеслава Иванова, Б. Зайцева, И. Шмелева, А. Ремизова, речь идет о выдающихся художниках, для каждого из которых политика была реальностью, однако периферийной.

В отношении так называемой "третьей волны" дело обстоит еще проще: эта "эмиграция" нисколько не классовая и в большинстве своем даже не политическая, а – культурная, русские писатели уезжали не от своей страны, они хотели одного: быть писателями, заниматься литературой, которая в СССР была для них закрыта или постепенно закрывалась. Один из лучших русских прозаиков наших дней, Фридрих Горенштейн, живет в За-

падном Берлине; в Советском Союзе ему удалось напечатать всего один рассказ: "Дом с башенкой", на Запад он привез сундук рукописей: романы, рассказы, пьесы, сценарии. После того как роман Горенштейна "Псалом" (I984) вышел в переводе на французский язык, была опубликована статья под заглавием: "Не он ли Достоевский двадцатого века?" Каждая новая книга Горенштейна изумляет и русских, и нерусских читателей, критиков, авторов. Если бы его печатали дома, зачем бы он стал вести мучительное существование в чуждой ему языковой среде? Разве уехали бы Виктор Некрасов, Александр Галич, Андрей Синявский, Иосиф Бродский, Наум Коржавин, Александр Солженицын? Разве принадлежат к какой-нибудь иной, нерусской литературе писатели одного поколения – Владимир Войнович, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Георгий Владимов, Феликс Розинер, Саша Соколов? Почему автобиографическая трилогия Льва Копелева должна была выйти за границей, а ее автор – оказаться в Кельне, лишенным советского гражданства?

Почему Александр Галич должен был, чуть не плача от бессилия, петь итальянцам и французам:

... Попробуйте в цехе найти чувака,
Который бы мыслил не то!
Мы мыслим как наше родное ЦК,
И лично …
Вы знаете – кто!

Слушатели, даже знавшие русский язык, не понимали автора. Да и не могли понять. Не понимали даже старики-эмигранты, которые спрашивали: "Это что такое – чувак?" "И лично... – это в каком смысле?" Галич пел в Венеции, вслушивающиеся в каждое его слово итальянские слависты потом спрашивали: "При чем там бараны или овцы? И почему в песне говорится о каких-то магазинах?" Потом я сообразил, что за овцы; песня "Больничная цыганочка" начинается словами:

А начальник все спьяну о Сталине,
Все хватает баранку рукой.
А потом нас, конечно, доставили
Санитары в приемный покой...

Кто же в Венеции знает, что баранка – это не овца? А "магазины" – это вот что:

Не то он зав, не то он зам,
Не то он печки-лавочки,
А что мне зам! Я сам с усам,
И мне чины до лампочки,
Мне все чины до ветчины,
До лампочки.

Что ни слово, то для чужих – неразрешимая загадка. Надо ли удивляться, что эмигрант Галич писал:

Не жалею ничуть, ни о чем, ни о чем не жалею.
Ни границы над сердцем моим не вольны,
Ни года!
Так зачем же я вдруг при одной только мысли шалею,
Что уже никогда, никогда...
Боже мой, никогда! ...

Эта песня названа "Опыт ностальгии". Дело, однако, не в ностальгии: трагедия – в отрыве писателя от его читателей и певца – от слушателей, в искусственно созданной трещине между поэтом и его народом, или, если угодно, между народом и его поэтом. Какая уж тут "замкнутая система – литература зарубежья!"

Сегодня, к счастью, этот разрыв успешно преодолевается. На страницах журналов широко представлена литература "зарубежья". Ее читают, о ней спорят, ее исследуют. Указом Президента СССР большинству писателей возвращено советское гражданство.

Считаю делом большой литературной важности выход в свет выборочного указателя публикаций писателей русского зарубежья в журналах и газетах страны с 1986 по 1990 годы [4].

В нашу задачу не входит анализ произведений авторов "зарубежья". Однако творчество А. Солженицына заслуживает специального анализа, ибо в нем сегодня сконцентрированы идейно-художественные и нравственно-политические поиски, которыми живет "зарубежная", да и не только зарубежная литература.

Солженицыну, лауреату Нобелевской премии, человеку, вернувшемуся на родину из вынужденной эмиграции, лавры не нужны. 2 июня 1999 года действительному члену РАН Солженицыну была вручена Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова, высшая награда РАН писатель был удостоен "за выдающийся вклад в развитие русской литературы, русского языка и российской истории". Согласно традиции, после вручения награды лауреат выступил с научным докладом.

Лейтмотивом его выступления [5] была тревога за будущее России, которую сегодня "швырнули рывком в опрометчивое, безоглядное, еще по-новому и по-новому разрушительное сползание". "Нынешнее падение России длится не месяцы, нет, вот уже второе десятилетие – тем опаснее и долговременнее могут быть материальные, демографические и нравственные последствия. Тем трудней – найти и осуществить созидательный выход из этого хаоса, безвозвратно усугубляемого высокопоставленным грабительством".

Россия, – убежден писатель, – являет и сегодня одну из крупных мировых цивилизаций, но мы нуждаемся в том, чтобы "снова высветить наш внутренний мир, восстано-

вить обрушенную систему наших духовных ценностей, над которыми сегодня бездумчиво глумятся эфирно-газетные средства".

Влияние Солженицына на формирование общественного мнения россиян и сегодня значительно. Да, он в известном смысле мавр, сделавший свое дело, но он и тот человек, о котором французская газета "Нувель обсерватер" писала в ноябре 1969 года: "Как революция 1905 года представляла своего пророка в Толстом, а революция 1917 года в Горьком, так и революция 19… будет присутствовать в великом, чистом и безупречном А.И. Солженицыне своего незабываемого правовестника".

С. Залыгин писал: "Год 1990-й в историю нашей литературы войдет… как год Солженицына; множество журналов будут публиковать его произведения, множество издательств напечатают его книги". Такой сосредоточенности на одном авторе, может быть, никакая литература не знала и не узнает никогда – небывалый случай. Хотя я и уверен, что этот случай уже сейчас, а со временем еще больше вызовет недоумение, объяснять, как и почему он произошел, – нет необходимости. Иначе не могло быть – вот и все"[6].

Русская литература, по мнению С. Залыгина, минуя Пушкина, но начиная, наверное, с Радищева и далее от Достоевского, к Решетникову, Успенскому, Платонову, Гроссману, отчасти и к Булгакову, к прозе Абрамова, Белова, Астафьева, Распутина и других "деревенщиков" выражала жизнь в страдании, для русских писателей-страдальцев горе неизбежно, оно даже и не фон, а то и дело само содержание и существо бытия дореволюционного, ну, а дальше – гражданская война, годы культа и застоя – все это уже не только события жизни, а сама жизнь. Были попытки, считает автор, и далеко не безуспешные, гулаговские страдания приукрасить: были ведь "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Кубанские казаки", "Екатерина Воронина", "Счастье", "Кавалер Золотой Звезды", были парады, награждения передовиков, но мрак 1937-го и прочих лет от этого веселья не только не рассеивался, но для многих сгущался еще больше.

В русской литературе обязательно должен был явиться писатель, который, пересилив свои собственную страдальческую судьбу, решился бы, отнюдь пренебрегая законами сюжета, лиризмом, художественной литературой, сказать о страдании уже и не от своего, а от народного имени.

И еще выписка из статьи С. Залыгина. Автор считает, что рассказанное Достоевским читается нынче как предисловие к Солженицыну. "Не мы, читатели, не они сами так рассудили между собой – так рассудила история, наша действительность недавних десятилетий, те события, наступление которых Достоевский и представить себе не мог. И вот еще что: ход и порядок мышления и всего творчества нашего автора более чем что-либо дру-

гое отвечает истинным и наиболее значительным потребностям нашего времени, нашей духовной жизни" [6].

Мы еще вернемся к последней мысли С. Залыгина, а теперь – несколько штрихов из литературной биографии Солженицына. В 1990 году вышла книга Н. Решетовской "Александр Солженицын и читающая Россия". Четверть века супружеской жизни с Солженицыным позволили Решетовской накопить обширный фактический материал о характере и особенностях его творческой судьбы. В книге освещаются студенческая жизнь писателя, его участие в Великой Отечественной войне, долгие годы заключения и трудное время жизни в Рязани, когда создавались "В круге первом", "Один день Ивана Денисовича", "Раковый корпус", "Архипелаг ГУЛАГ".

Наибольший интерес, на мой взгляд, представляют отраженные в книге литературные интересы писателя, эволюция его творческих и идейно-нравственных замыслов.

Мы узнаем, что А.С. еще на первом курсе Ростовского университета "задумал свой очень интересный роман "Люби Революцию", который начнется с Самсоновской катастрофы в августе четырнадцатого года". Изучал в библиотеках все исторические материалы.

Написал рассказы "Речные стрелочники", "Николаевские" и "Заграничная командировка". Будучи студентом университета, после третьего курса становится заочником МИФЛИ. Любил стихи С. Есенина и "Войну и мир" Л. Толстого. На смотре художественной самодеятельности вузов и техникумов читал свои стихи "Гимн труду" и "Ульяновск".

Начало войны. Артиллерийское училище в Костроме. Замысел повести о студентах на войне – "Шестой курс": "чудесная третья редакция "лейтенанта". Узнав, что сосед во время немецкой оккупации был "городской головой", пишет рассказ "В городе М".

Через три месяца после боев на Орловско-Курском и Белгородском направлениях А.С. в письме формулирует задачи своей литературной деятельности: "Следуя гордому лозунгу "Единство цели", я должен замкнуться в русской литературе и истории Коммунистической партии". Он читает Маркса и находит у него "колоссальные вещи". Маркс еще в 1870 году, анализируя франко-прусскую войну, предсказал русско-германскую, которая вызовет социальную революцию в России. "Но это жутко – так глубоко проникнуть в толщу событий!"

Давняя симпатия А.С. – К. Федин, верный ученик Горького. Он посылает ему свои рассказы. Если Федин, прочтя рассказы, убедит его в отсутствии таланта, решает круто порвать с литературой. Рассказы прочитал Б. Лавренев и обещал передать их в журнал "Знамя".

А.С. не пропускает новинки литературы: "Попалась первая правдивая (в моем духе) книжка о войне. Это "Василий Теркин" Твардовского. Если прочесть эти стихи внимательно, можно увидеть много таких вещей, о которых никто еще не писал, вообще Твардовский – один из лучших (не лучший ли?) советских поэтов".

В марфинской тюрьме в Останкине он читает Ключевского, "Римскую историю" Моммзена, хрестоматию Струве по древней истории, книги по истории западной литературы, сочинения Дарвина, Тимирязева. В полной мере открылся ему Достоевский. Потрясающее впечатление произвело чтение Даля. Он признается, что "был как бы плоским, двухмерным существом, и вдруг ему открыли стереометрию. Теперь он стал совсем иначе понимать и представлять будущую русскую литературу и русский язык".

С мая 1950 года А.С. с номерками на одежде и шапке превратился в заключеного Щ – 262. Всю зиму работал каменщиком на ТЭЦ. Просит прислать ему стихи и драматическую трилогию А.К. Толстого, драмы Островского, стихи Кольцова и Блока. По страничке в день изучает Даля.

Кок-Терек, Джамбул, Ташкент, онкологический диспансер… Покупка книг Мериме, Толстого. Работа над романом о марфинской "шарашке". Пьеса "Декабристы", "Республика труда". С 1956 года – Рязань.

Циклы лагерных стихов "Сердце под бушлатом", "Когда теряют счет годам", главы из поэмы "Шоссе энтузиастов", пьеса "Пир победителей".

1958-й г. – год рождения "Архипелага". Сценарий "Истину знают танки" и "Свеча на ветру". Отказ от подписки на "Литературную газету". Раздражение от статей Сафронова, критиковавшего Твардовского, а также Симонова, который напечатал роман В. Дудинцева "Не хлебом единым".

А.С. в это время "был предельно далек не только от литературных кругов, где шли ожесточенные дебаты об этих произведениях. Сознательная изолированность в собственной скорлупке привела к тому, что он не верил в перемены, которые уже ощущались в обществе. А травма ареста в конце войны, бесчисленных обысков из изъятий написанного продолжала действовать".

18 мая 1959 года А.С. сел писать давно задуманную повесть "Щ-854", или "Один день Ивана Денисовича". Решение печатать рассказ было принято на Политбюро ЦК КПСС в октябре 1962 года под личным давлением Хрущева. Образ Ивана Денисовича сложился из нескольких составляющих – солдата Шухова, воевавшего вместе с автором (и никогда не сидевшего), из общего опыта военнопленных и личного опыта автора, работавшего в лагере каменщиком. Остальные лица – все из лагерной жизни, с подлинными биографиями.

В "Новом мире" №1 за 1963 год появились рассказы А.С. "Матренин двор" и "Случай на станции Кречетовка". Исходное название первого рассказа – "Не стоит село без праведника" (название "Матренин двор" принадлежит А. Твардовскому). При напечатании по требованию редакции год действия 1956 подменялся 1953-м, то есть дохрущевским временем. Рассказ этот был подвергнут атаке в советской прессе. Автору указывали, что не использован опыт соседнего зажиточного колхоза, где председателем Герой Социалистического Труда. Критика не доглядела, что он упоминается в рассказе как уничтожитель леса и спекулянт. Рассказ этот полностью автобиографичен и достоверен.

Рассказ "Случай на станции Кречетовка" написан в ноябре I962 года, отрывок из него был опубликован в "Правде" в декабре того же года (из-за этого обстоятельства рассказ не был подвергнут критике в советской прессе). Реальное название станции, где и произошел в 1941 году описанный подлинный случай – Кочетовка. Название было изменено из-за остроты противостояния "Нового мира" и "Октября" (главный редактор – Кочетов), хотя остальные географические пункты названы точно.

В №7 "Нового мира" за 1963 год был напечатан с небольшими цензурными вымарками, сделанными без ведома автора. Под Кнорозовым подразумевался известный партийный А. Ларионов, при Хрущеве зарвавшийся на афере с мясными поставками и кончивший самоубийством. Прообраз Грачикова –парторг рязанской школы, где работал автор.

Осенью 1965 года написан и в №1 "Нового мира" за 1966 год напечатан рассказ "Захар-Калита".

Публикация первых произведений А.С. вызвала массу откликов – взволнованных, восторженных. Приведем, приведенный Н. Решетовской отклик очеркиста И. Зыкова, где, на наш взгляд, предпринята одна из первых серьезных попыток анализа литературного мастерства Солженицына.

"Пусть знает, что ныне у нас ничто не дается даром, и пусть безропотно несет бремя популярности. Острота темы со временем полиняет, навсегда останется мастерство", – писал Зыков и дальше перечислял "заслуги автора":

"I – окончательно изгнал школьный синтаксис сложно-подчиненного предложения. У Солженицына нет придаточных предложений и, кажется, ни разу не встречается слово "который".

II – вернул литературе то, без чего она не может существовать; тональность, гармонию, ритм. В захлестнувшем нас обезличенном газетном языке все слова стоят в незыблемом порядке: в начале фразы подлежащие со своей свитой, потом следует сказуемое со своими причиндалами, причем определение стоит впереди определяемого слова, а допол-

нение – сзади глагола. Раз и навсегда, как зэки на линейке. Но, как вызываемый надзирателем зэк должен выступить вперед, точно так же, чтобы поставить слово под логическое ударение, надо вывести его с обычного места на необходимое. Например: "и тонкий, злой потягивал с востока ветерок".

III – обогатил нашу пресную, "очищенную" от цвета, вкуса и запаха лексику сотнями звучных и колоритных слов с перцем, солью, уксусом, хреном и горчицей".

Добрыми откликами встретил книгу К. Чуковский: "... ни одной крикливой, лживой краски, и такая власть над материалом; и такой абсолютный вкус! А когда я прочитал "Два рассказа", я понял, что у Льва Толстого и Чехова есть достойный продолжатель".

Немало хороших слов о первых произведениях Солженицына сказали С. Маршак, В. Шаламов, Б. Можаев, И. Эренбург, К. Симонов и другие.

Очень интересно письмо, в котором неназванный автор поставил глубинные проблемы человеческой нравственности, используя учение Шопенгауэра. Но еще более интересен ответ А.С., где он впервые сформулировал мысль, которая будет буквально пронизывать его последующие произведения, в том числе "Архипелаг". Автор: "Раньше я думал, что, поступая дурно, человек производит какой-то выбор между плохим и хорошим, и поскольку в эгоистических интересах он выбрал плохое, это вызвало у меня гнев и возмущение. Шопенгауэр доказал, что это не так: человек поступает соответственно своей врожденной природе и иначе поступить не может. Характер, определяющий природу человека, является врожденным и неизменным, измениться может только познание, влияющее на средства, но не на цель". А.С.: "Опыт собственной жизни не позволяет мне согласиться с той мыслью Шопенгауэра, которую Вы приводите, – о прирожденности и исконности злой или доброй природы человека. Я считаю, что линия раздела добра и зла есть подвижная линия, проходящая через сердце каждого человека и в разные периоды его жизни, под совокупным воздействием внутренних и внешних причин, передвигающаяся то в светлую, то в темную сторону. И, осознав это, мы можем влиять на ее движение".

В "Архипелаге" мы найдем уже более углубленную формулировку этой мысли.

"Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло проходит не между классами, не между партиями, – она проходит через каждое человеческое сердце – и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце – неискорененный уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах – и носителей добра), – само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство.

К чести XX века надо отнести Нюренбергский процесс: он убивал саму идею зла, очень мало – зараженных ею людей. (Конечно, не Сталина здесь заслуги, уж он бы предпочел меньше растолковывать, а больше расстреливать.) Если к XXI веку человечество не взорвет и не удушит себя – может быть это направление и восторжествует?"[7]

"Архипелаг" в нашей стране впервые был опубликован в "Новом мире" в 1989 году №№ 8-11. Задачу создания этого "опыта художественного исследования" сам автор определил следующим образом:

"В нашем славном отечестве самые важные и смелые книги не бывают прочитаны современниками, не влияют вовремя на народную мысль (одни потому, что запрещены, преследуются, неизвестны, другие потому, что образованные читатели заранее от них отвращены). И эту книгу я пишу из одного сознания долга – потому что в моих руках скопилось слишком много рассказов и воспоминаний, и нельзя дать им погибнуть. Я не чаю своими глазами видать ее напечатанной где-либо; совсем не верю, что она объяснит правду нашей истории тогда, когда еще можно будет что-то исправить. В самом разгаре работы над этой книгой меня постигло сильнейшее потрясение жизни: дракон вылез на минуту, шершавым красным язычищем слизнул мой роман, еще несколько старых вещей – и ушел пока за занавеску. Но я слышу его дыхание и знаю, что зубы его намечены на мою шею, только еще не отмерены все сроки. И с душой разоренной я силюсь кончить это исследование, чтоб хоть оно-то избежало драконовых зубов. В дни, когда Шолохов, давно уже не писатель, из страны писателей растерзанных и арестованных поехал получать Нобелевскую премию, – я искал, как уйти от шпиков в укрывище и выиграть время для моего потайного запыхавшегося пера, для окончания вот этой книги".

После того, как "Архипелаг" впервые вышел в Париже в середине 70-х годов, в западных газетах появились рецензии на книгу, принадлежащие перу Р. Медведева. В 1989 году рецензии этого автора на три первых тома "Архипелага" были опубликованы в "Правде" [8].

Напомним, что первый том содержал подробное исследование всего, что предшествовало появлению миллионов советских людей в сталинских концлагерях: системы арестов и различных видов тюремного заключения, пыточного следствия, судебных и внесудебных расправ этапов и пересылок. Во втором томе автор исследует уже главную и основную часть империи ГУЛАГа – "истребительно-трудовые лагеря". История возникновения лагерей, экономика принудительного труда, структура управления, категории заклю-

ченных и повседневный быт лагерников, положение женщин и малолеток, взаимоотношения рядовых зэков и придурков, уголовных и политических, охрана и конвоирование, осведомительная служба, вербовка стукачей, система наказаний и "поощрений", работа больниц и медпунктов, различные формы умирания, убийства и несложная процедура похорон заключенных – все это находило свое отражение в книге. Автор описывает разнообразные виды каторжного труда зэков, их голодную пайку, изучает не только лагерный, но и ближайший мир, особенности психологии и поведения заключенных и тюремщиков (по терминологии А.С. – "лагерщиков"). Одна из важных тем третьего тома – послевоенный период истории ГУЛАГа: возрождение каторги (даже как юридического понятия), создание на основе прежних "исправительно-трудовых лагерей" системы особлагов, где содержались главным образом политические заключенные. Автор подробно описывает разные виды ссылок. При этом, обращаясь к истории, рассказывает о выселении в годы коллективизации богатых крестьян и "подкулачников", а также о выселении на восток многих не угодных Сталину народностей. Начав первый том своей книги главой "Арест", он заканчивает шестую часть "Архипелага" главой "Зэки на воле" – описанием освобождения заключенных, которые сумели дожить до реабилитации 1955-1957 годов.

Однако главная тема третьего тома – подробное описание постепенного, медленного, но неуклонного изменения настроений и поведения заключенных, разных форм пассивного и активного сопротивления, начиная от побегов и протестов и кончая попытками вооруженных восстаний. Солженицын первым подробно описал трагические события в Новочеркасске в 1962 году, а описание Кенгирского восстания составляет центральную часть третьего тома.

Давая "опыту" А. Солженицына самую высокую оценку, Р. Медведев тем не менее достаточно резко критикуеют его мировоззренческую, нравственную позицию. Он пишет, что не принадлежит к числу единомышленников Солженицына и не разделяет его "реакционно-утопические концепции". Но дело, по его мнению, даже не в этих концепциях. Дело в том, что, возмущаясь большевиками за многие из тех негодных средств, которые они применяли для достижения благой, по их мнению, цели, Солженицын сам нисколько не стесняется в средствах. В полемическом пылу он слишком часто прибегает к явным искажениям, к передержкам, к тенденциозному очернению людей, с чьими взглядами несогласен. Такое пренебрежение моральными категориями со стороны Солженицына – политика, считает рецензент, подрывает доверие значительной части читателей и к Солженицыну-художнику.

К подобным нарушениям художественной правды относится использование лагерного мифа о ссылке калек Отечественной войны на неведомый остров или о том, что в

особлагерях он никогда не встречал заключенных грузинской национальности. Это объясняется, считал резенцент, в первую очередь некоторыми новыми (по крайней мере, впервые высказанными в "Архипелаге") концепциями Солженицына и его стремлением подтянуть действительность к этим концепциям. В частности, в третьем томе Солженицын вполне определенно обеляет и оправдывает власовцев. Особенно выделяет советских солдат и офицеров, которые перешли на сторону фашистов не в 1943, а в 1941 году. Он готов понять, простить и оправдать бургомистров, старост, полицаев и даже карателей, не говоря уж о казачьих полках и дивизиях, сформированных гитлеровцами на Дону и Кубани. При этом, презрительно называя "телятами" молодых людей, рвавшихся на фронт защищать Родину, Солженицын считает тех, кто перешел на сторону врага, не изменниками, а героями, поднявшимися на героическую борьбу со сталинской тиранией, порыва которых, однако, не оценили и не использовали из-за своей тупости ни Гитлер, ни германский штаб.

Солженицын полностью оправдывает тех директоров школ и учителей, которые продолжали в оккупированных городах и селах учить детей по предложенной фашистами программе. Оправдывает женщин, которые стали наложницами немецких солдат и офицеров.

Через всю книгу Солженицына проходит неприязнь и озлобление не только к коммунистам вообще, но и к темиз них, которые многие годы провели в сталинских лагерях и прошли через испытания, несравненно более тяжкие, чем те, через которые прошел сам Солженицын.

Р. Медведев отметил тон постоянной насмешки Солженицына над русскими революционерами и либералами, считавшими режим самодержавия в России "невыносимым". Его уверенность, что десяти- или даже стократное усиление репрессий спасло бы русский царизм от гибели, заставляет резонно спросить – а почему он этого так хотел?

Нельзя не согласиться с выводом Р. Медведева, что Солженицын, переживший страшные времена, сам стал типичной жертвой этого времени, которое воспитало в нем не только твердость и мужество, но и ожесточенность, вражду к людям иных взглядов и убеждений, пренебрежение к средствам для достижения своих целей.

"Архипелагу" предшествовали два романа А.С. – "В круге первом", который, опередив публикацию в "Новом мире" [9], вышел отдельной книгой в издательстве "Художественная литература", и "Раковый корпус"[10].

Поле обзора в "Круге первом", весьма просторно. Взгляд автора, соответственно вынесенной в заглавие метафоре (самый легкий из кругов дантова ада), обегает все круги советского общества, начиная от Сталина и кончая последним стукачом. Главный герой

романа Глеб Нержин, в образе которого, по мнению Д. Панина, Солженицын "изобразил самого себя исключительно правдиво и точно"[12]. Отмечает в себе "нахрап и хват", которых не знала старая русская интеллигенция и которые привил ему лагерь. Он не просто зэк, а зэк-"волкодав", смотрящий на своих палачей, как волк взирает на овец. Для него (и, считай, для Солженицына) свят афоризм, подаренный ему таким же, как он зэком, дворником Спиридоном: "Волкодав прав, а людоед – нет". Палачи мысленно – через слово – преданы им уничтожению, в его глазах они обречены.

По мнению И. Золотусского это может быть, первый советский антисоветский, который, сокрушая советскую литературу, роковым образом находится в связи с нею [11], он полон открытий, которые стали откровением для конца 50-х годов, но и сейчас не померкли. Это и суждение о Великой Отечественной ("самая несчастная война в русской истории"), совпадающее с таким же суждением В. Гроссмана в "Жизни и судьбе". И о всеобщем "равнодушии" при подавлении народа, об усилении свирепости режима благодаря атомной бомбе и т.д. В романе не только содержится критика, но и разрушается миф о социализме, который Солженицын не склонен ни "отчищать", ни подновлять, ни оттирать до блеска. Для Нержина неприемлемы ни вертухаи, сторожащие его в "шарашке", ни майоры и полковники, продавшие душу дьяволу, ни еще выше стоящие министры и вожди, ни сама идея, стоящая над всеми нами. Его дело – раскачать эту идею, раскрошить ее, превратить в исторический прах. Ради этого Нержин живет, ради этого готов на то, чтобы его "списали" с "шарашки" и отправили обратно в лагерь.

На разрушение "бетона" и работает весь роман, как и все последующее творчество Солженицына. Он привязан к этому разрушению как к некоему завету, переданному ему погибшими, как к повелению свыше, избравшему его на эту роль среди многих "избранцев".

27 февраля 1991 года "Литературная газета" предложила писателям, критикам, литературоведам небольшую анкету.

1. Возможен ли, на ваш взгляд, в настоящее время объективный, чисто литературоведческий разговор о достоинствах и недостатках Солженицына-писателя? Можно ли и нужно ли заниматься критическим анализом его текстов, отвлекаясь от идеологического контекста, устойчивой аурой сопровождающего имя Солженицына?
2. В эмигрантской среде бытует шутка о том, что Александров Исаевичей – двое. Первый – гениальный автор "Одного дня Ивана Денисовича" и "Архипелага ГУЛАГ", второй – всего лишь навсего публицист, написавший "Ленина в Цюрихе" и

статью "Наши плюралисты". Как вам кажется, есть ли в этой злой шутке доля истины?

3. Говорят, что по-настоящему оригинальный художник выламывается из традиции и не создает собственной школы Его удел – ниспровергнуть кумиров и плодить эпигонов. Имеет ли смысл выстраивать ряд предшественников и последователей Солженицына в литературе? А если имеет – кого бы вы назвали в этом ряду прежде всего?

Приведем один из поступивших ответов – Владимира Максимова. Он выражает беспокойство в связи с тем, что Солженицын, поставленный вне критики, вне серьезного, взыскующего разговора о его творчестве, незаметно для себя начинает терять нравственные ориентиры и качественные критерии, каким когда-то следовал сам.

Отмечает крайнюю политическую наивность брошюры А. Солженицына "Как нам обустроить Россию", перекликавшуюся напрямую со статьей автора ответа "Размышления о гармонической демократии" и с философским эссе Дм. Панина "Как нам наладить Россию", удручающее многословие и в некоторых частях весьма опасную нравственную бестактность. Он убежден, что распределять территории страны, сидя в комфортабельном вермонтском далеке, – все равно что заливать керосином накаленные угли межнациональной вражды.

По мнению Максимова, подлинно гениальные "Матренин двор" и "Архипелаг ГУЛАГ" мирно соседствуют у Солженицына с весьма скромным по своим литературным достоинствам "Августом Четырнадцатого" и основательными, но без подлинного блеска и размаха "Раковым корпусом" и "Лениным в Цюрихе". Что же касается "Красного колеса", то это не просто очередная неудача. Это неудача сокрушительная. Тут за что ни возьмись – все плохо. Историческая концепция выстроена задним умом, а им, как известно, мы вое в высшей степени крепки. Герои, как на подбор, функциональны, вместо полнокровных, живых характеров – ходячие концепции. Любовные сцены – хоть святых выноси. Язык архаичен почти до анекдотичности. По мнению автора ответа, переварить эту словесную мешанину едва ли в состоянии даже самая всеядная читательская аудитория.

И все же роль А. Солженицына в нашей литературе и бытии заключается в том, что он задает обществу, всем нам неизмеримо более высокие нравственные и творческие критерии, чем, те, из каких мы исходили до него. И только одно это искупает все его промахи и потери.

Без этого, по мнению Максимова, было бы немыслимо такое явление, как "деревенская проза". Все наши "деревенщики" вышли из "Матрениного двора", как послепушкинская проза – из гоголевской "Шинели". Без Солженицына не состоялось бы в нашей лите-

ратуре (и не только в литературе!) и многое другое. "Поэтому, предъявляя сегодня к нему столь нелицеприятный счет, я тем не менее убежден, что лишь благодаря Солженицыну русская литература после столь долгого и трагического перерыва вновь заняла подобающее ей место в ряду мировых литератур. Сколько серых мышей нынче на Востоке и Западе вот уже много лет хлопотливо хоронят нашу отечественную словесность! Правда, она, надо отдать ей справедливость, этого не замечает, живет себе и в ус не дует. И это тоже во многом благодаря Солженицыну"[13].

ЛИТЕРАТУРА

1. Пусть Горбачев предоставит нам доказательства// Москлвские новости. 1987. 29 марта.
2. Иностранная литература. 1988. № 12.
3. Иностранная литература. 1989. №№ 2-3.
4. Литература русского зарубежья возвращается на Родину: Выборочный указатель публикаций 1986 – 1990. Вып.1. Ч. 1-2 // М.: Рудомино, 1993.
5. Интерфакс Время. 1999. 11-17 мая.
6. С. Залыгин. Год Солженицына // Новый мир. 1990. № 1.
7. А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918 – 1956. Опыт художественного исследования // Новый мир. 1989, № 11.
8. Р. Медведев // Правда. 1989. 18 и 29 дек.; 1990. 18 мая; 1990. 26 авг.
9. А. Солженицын. В круге первом // Новый мир. 1990. № 1 - 5.
10. А. Солженицын // Новый мир. 1990. № 6 - 8.
11. И. Золотусский. Солженицын: круг первый // Московские новости. 1990. 26 авг.
12. Дмитрий Панин. На шарашке. О прототипах романа "В круге первом" // Литературная газета. 1990. 30 мая.
13. Литературная газета. 1991. 20 марта.

ЭКОЛОГИЯ НРАВСТВЕННОСТИ

Анализируя произведения, вышедшие во второй половине 80-х годов, – В. Дудинцева, А. Рыбакова, Д. Гранина, В. Гроссмана и других, – хотелось бы обратить внимание на характер героев этих книг. Они не просто прошли сталинские лагеря и выжили в этом аду, но и сумели сохранить яркую индивидуальность, нравственное величие. Их ломали и гнули, но они не сломились. Они – рыцари нравственного сопротивления. Все, что рассказали о них авторы, – суровая правда, одухотворенная высокой гражданской ответственностью писателей за торжество добра и справедливости. Эта правда возвышает человека, делает его участником великой борьбы за перестройку общества. И такая литература – главное завоевание писательской мысли этих лет, ибо в ней воплощена главная тенденция народного сознания к обретению подлинной, а не ограниченной административно-бюрократическими рогатками свободы.

Но также и широко представленная на страницах журналов литература иного толка. Чтобы было легче разобраться в сложностях литературного процесса, рекомендуем обратиться к полемике на страницах "Литературной газеты" [1]. Поводом послужило присланное в редакцию письмо А. Прокофьевой, где она поделилась впечатлениями от произведений трех авторов-женщин – Валерии Нарбиковой, Людмилы Петрушевской и Татьяны Толстых. "Они то ли обрушивают на тебя ведро с помоями, то ли заталкивают в палату для буйнопомешанных. Ни глубоких мыслей, ни красивых чувств, ни привлекательных героев, ни малейшего просвета надежды. Только мрак, только грязь, только ничтожные, жалкие людишки – и ничего больше. Я не ханжа, поверьте, но меня мутит, когда я слышу, что теперь сквернословят не только на улице, но и с киноэкрана, и со сцены, и на журнальных страницах. Мне кажется, что гласностью кое-кто из писателей (и особенно писательниц – вот что удивительно!) воспользовался для того, чтобы всю грязь, всю нечисть выставлять на всеобщее обозрение – вот, мол, нате... Неужели от такой "правды" есть хоть какая-то польза? Неужели писатели забыли, что литература должна возвышать, просветлять, а не пригибать к земле?"

В полемике приняли участие два литературных критика – С. Чупринин и Д. Урнов. До мнению Чупринина [2], эта волна в литературе заявила о себе как о важном социально-психологическом, мировоззренческом, художественном феномене, вызывающе альтернативном по отношению и к господствующей морали, и ко всему тому, что считалось у нас собственно литературой. Когда и помыслить было нельзя, что такие тексты окажутся более или менее полно напечатанными здесь и сейчас.

Автор статьи довольно тщательно исследует генезис такой альтернативной литературы, визитной карточкой которой явился скандал с "подпольным" альманахом "Метрополь", "который кем только сейчас не славится и где только не прославляется".

Надо сказать, что автор статьи умолчал о негативных оценках, которые дали альманаху некоторые писатели и литературоведы, которые на наш взгляд мало заботились о личном благополучии и желании угодить начальству, а думали о судьбах литературы, ее нравственно-эстетическом, гражданском пафосе.

Что же представлял собой "Метрополь", каковы были цели его создания, кому он был адресован и каково его содержание?

Его организаторы (В. Аксенов, А. Битов, Ф. Искандер, В. Ерофеев, Е. Попов и др.) объясняли необходимость выпуска альманаха заботой о литературе. "Основная задача нашей работы, – писали они, – состоит в расширении творческих возможностей советской литературы, способствуя тем самым обогащению нашей культуры и укреплению ее авторитета как внутри страны, так и за рубежом!" Однако, в предисловии к альманаху не было и отзвука такой заботы.

Остановимся на точке зрения по этому поводу критика Ф. Кузнецова, высказанную им в статье "Конфуз с Метрополем" [3]. Автор напомнил, литература – дело серьезное, любые амбиции здесь проверяются суровой реальностью, литературным текстом, его содержанием и художественностью. Сколько ни говори о "субъективности вкуса", Баркова не выдашь за Пушкина, а Арцыбашева – за Льва Толстого.

Широковещательные заявления, "Метрополь", будто в альманахе открыт некий "пласт литературы", допрежь обреченный" на многолетние скитания и бездомность", надо доказывать делом. А "делом" в литературе является слово.

Заявлено, будто советская литература находится в состоянии "застойного тихого перепуга". Но кто же из писателей находится в такого рода "перепуге?" Может быть, Айтматов? Симонов? Бондарев? Абрамов? Гранин? Астафьев? Распутин? Трифонов? Бакланов? Быков? Или другие талантливейшие наши писатели, опубликовавшие немало высокогражданственных и высокохудожественных произведений? И кто эти "бездомные скитальцы", казанские сироты советской литературы, составляющие будто бы никому не известный, девственно заповедный и наконец-то открытый "Метрополем" новый пласт отечественной словесности? Если верить составителям "Метрополя", – это вполне преуспевающие наши писатели, включая Б. Ахмадулину и А. Вознесенского, чьи произведения издавались в нашей стране многотысячными тиражами.

Каков же литературный уровень представленных в альманахе произведений? Здесь нет эстетических открытий, серьезных художественных завоеваний. Ф. Кузнецов считает,

что даже такие опытные литераторы, как А.Битов или Ф. Искандер, С. Липкин или И. Лиснянская представили в альманах произведения заметно ниже своих возможностей. Их произведения играют в сборнике по существу роль фигового листка, зато там в обилии представлены литературная безвкусица и беспомощность, серятина и пошлость, лишь слегка прикрытые штукатуркой посконного "абсурдизма" или новоявленного богоискательства: натужные разговоры о душе напрямую соседствуют с безнравственной пачкотней, какой занимается, к примеру, в рассказе "Едрена Феня" В. Ерофеев, чей герой созерцает надписи и изображения на стенах мужского клозета, а потом перебирается с теми же целями в женский. А чего стоит название второго рассказа того же автора – "Приспущенный оргазм столетия!"

Натуралистический взгляд на жизнь как на нечто низкое, отвратительное, беспощадно уродующее человеческую душу, взгляд сквозь замочную скважину или отверстие ватерклозета, эстетизация уголовщины, вульгарной "блатной" лексики, – считал автор статьи, – в принципе противоречат корневой гуманистической традиции русской советской литературы. Весь этот бездуховный "антураж", как и слабые подражания Кафке или театру "абсурда", – не более чем "задняя" европейской и "массовой культуры".

"Не надо только при этом превращать Савла в Павла, выдавать отходы писательского ремесла за художественные достижения, бездарность – за литературный талант, беспомощность – за мастерство, аморализм – за нравственность, а пустую и ничтожную затею, ненужную никому за что-то серьезное".

20 февраля 1979 года состоялось совещание членов Московской писательской организации, на котором они высказали свои впечатления о "Метрополе". Приведем некоторые оценки.

Ю. Бондарев: "Большая часть прозы альманаха вызывает ощущуние стыда, раздражения, горькой неловкости за авторов, ибо отсутствует здесь чувство реальности и сообразности, чувство меры и умения распоряжаться словом. Проза эта натуралистична, неряшлива, грязно замусорена, и говорить всерьез о ее художественной стороне, пожалуй, нет оснований".

А. Борщаговский: "У нашей литературы всегда был высокий нравственный порог, которого достигла жизнь и за нею – литература. Нравственный порог, о котором нельзя забывать, ибо если его утратить, это будет служить развращению подрастающего поколения и вносить в умы молодежи сумятицу. Грех "Метрополя" – в измене нравственному уровню, достигнутому советской литературой".

С. Наровчатов: " Откровенно говоря, ожидал от этого альманаха чего угодно, но не такого низкого уровня… Об ответственности перед обществом говорить бессмысленно,

раз сама ориентация альманаха антиобщественна. Но здесь нет даже ответственности писателя перед самим собой. Она утеряна полностью".

Вернемся к статьям С. Чупринина и Д. Урнова, оценивающих "альтернативную" литературу уже десятилтием позднее.

Опыт истории заключается в том, – писал Гегель, – что он никогда никого ничему не учит. Парадоксально, но это факт. Впрочем, это относится и к литературе. Забыты оценки, изжита боль, писательские судьбы вписаны в коньюктуру рынка. А рынок и духовность – вещи несовместимые. И вполне естественно, что на этом фоне альтернативная литература, как говорится, "пошла". Ее корень, исток С. Чупринин видит в нашей реальности. В той, где падает рождаемость и не хватает приютов для слабоумных ребят, где воруют и развратничают, уже не скрываясь, где переполнены вытрезвители, тюрьмы и психиатрические больницы, где сытые, обеспеченные дети по блату пристраивают своих отцов-матерей в дома призрения, где уже случились трагедии Чернобыля и Сумгаита, где пацанва кайфует с пластиковыми мешками на головах и цепляет на рукава повязки со свастикой, где профессия валютной проститутки престижнее профессии учительницы, где чуть ли не кажцый второй-третий норовит не работать, а придуриваться, где за окном стоит, говоря словами горячечного монолога Венички из поэмы в прозе "Москва-Петушки: "Гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа – время от закрытия магазинов до рассвета!" Одним словом, по Маяковскому:

"Забыли приличие,
бросили моду,
Кто – без юбки,
а кто – без носков.
Бьет мужчина
даму в морду…"

Эта литература, по мнению Чупринина, унижает нас знанием о том, как исковерканы души чередованием "железной зимы", "оттепели" и "заморозков", как сызмалу приучены мы дышать не кислородом свободы, а выхлопными газами командно-административной машины. В этом ее социально-критический, обличительный смысл, ибо, может быть, почувствовав себя оскорбленными, мы все же таки воспрянем?.. Она, наконец, показывает, что проза может быть непривычной, ни на что не похожей – т.е. разной. И в этом ее литературный, обновлявще творческий смысл.

Д. Урнов, напротив, считает, что такая литература просто никуда не годится, и даже не потому, что в произведениях С. Соколова "Школа для дураков", В. Ерофеева "Москва-Петушки", В. Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" очернительство и клевета на нашу жизнь, а потому, что они написаны плохо, суконн-

ным языком. И нам, считает автор, в каждом конкретном случае необходимо установить, художник ли перед нами.

Ответить на этот вопрос нелегко. Но попробуем. В начале 90-х годов была опубликована повесть Венедикта Ерофеева "Москва-Петушки" [4], признанная некоторыми критиками едва ли не лучшим произведением отечественной литературы послевоенных лет. С.Чупринин видит значение повести в беспощадной и безбоязненной передаче самоощущения тех, кого мы вправе назвать жертвами безвременья, в живописании того, что можно было бы назвать позором нации, "как русские писатели: от Аввакума и Радищева до недавно ушедших из жизни Шукшина, Вампилова, Трифонова, Федора Абрамова и Владимира Высоцкого". Как видим, В. Ерофеева критиком ставится в один ряд с великими зодчими русской литературы. Но достоин ли такой чести В. Ерофеев? Можно даже согласиться с Чуприниным в том, что "Москва-Петушки" (исповедь российского алкоголика) своим острием направлена на реабилитацию человека – просто человека. Но согласиться с мыслью критика, что "в остро сатирическую, местами памфлетную ткань повести, проникнутой пафосом не только социальной критики, но и, как говорят сейчас, "национальной самокритики", вплетается свежо и живо струящаяся лирическая нить" – трудно.

Впрочем, судите сами:

"Меня подводят к дамам и дамам и представляют так: – А вот это тот самый знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул... – Как?! Ни разу?! – удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. – Ни ра-зу?!"

Может быть, приведенное и есть "свежо и живо струящаяся, лирическая нить"? А может быть, эта нить пронизывает следующий фрагмент повести, в котором автор по-своему (наверное, альтернативно) использовал чеховскую мечту о человеке:

"И опять началось все то же, и озноб, и жара, и лихоманка, а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и приблизились ко мне вплотную, и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка – серпом по ...цам. Я закричал, – наверное, вслух закричал – и снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже во мне содрогалось – и лицо, и одежда, и душа, и мысли".

Можно привести немало "оригинальных" сравнений, например, глаз с тем, что в туалете на Петушинском вокзале "на громадной глубине, под круглыми отверстиями, плещется и сверкает эта жижа карего цвета".

Не меньше фразеологических новаций и в сатирической повести В. Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Здесь и генерал Дрынов, который, что ни слово, то – "так твою мать", "раздолбай", и совсем уж никудышний капитан Миляга, который, чтобы убедить генерала, выкрикнул: "Да здравствует товарищ Гитлер". И который "погиб, как дурак". "Ведь если бы он, попав на допрос, разобрался в обстановке… по-прежнему считался бы первосортным патриотом. И вполне возможно, дослужившись до генерала, получил бы сейчас хорошую пенсию... И выступал бы в жилищных конторах с лекциями, уча молодежь патриотизму, культуре поведения в быту и нетерпимому отношению ко всем проявлениям чуждой идеологии".

Можно привести и другое. Но нужно ли энергично объяснять читателю, что это талантливо, связывать это со святой верой в великую будущность нашего народа, способного к подобному самоочищению, – не знаю.

Д. Урнов в статье внес практическое предложение: давайте все это разрешим и напечатаем, чтобы высказать все, что об этом думаем.

И каков же получился итог? Напечатали все – и Алешковского, и Лимонова, и Маринину, и Дашкову, и… стоит ли перечислять. А вот что мы думаем об этом –об этом пишут мало. А когда порою прорвется негодующая мысль, ее скорей всего растопчут или не заметят.

В статье Н. Шмелева "Интеллигенция и реформа" [5] прозвучала мысль о сотрудничестве между реформаторами и интеллигенцией. "По большому счету, – пишет он, – у российской интеллигенции нет, не будет и не должно быть интересов, принципиально отличных от жизненно важных интересов всех других слоев нашего общества за исключением, естественно, всякого рода экстремистских сил и криминальной среды". Автор категорически не согласен с Д. Граниным, который считает, что "интеллигенция уходит", что российский интеллигент исчезает из нашей жизни.

Мне очень импонирует мысль Шмелева о том, что "никуда ум, образованность, совестливость, сопереживание, духовные, нравственные начала, чувство личной ответственности за страну, изначально присущие российскому интеллигенту, не могут исчезнуть из жизни, пока российский человек вообще жив".

Однако теория без практики мертва, как писал классик. А практика – дело очень серьезное.

В статье В. Елистратова "Сниженный язык" и "национальный характер" [6], рассматривается "постсоветская" "легализация" сниженного языка". Термин "сниженный язык" автор относит, с одной стороны, к древней стилеведческой традиции, а с другой, –

к языковому чутью любого рядового носителя языка, легко угадывающего, что "харя" по стилю явно ниже, чем "лицо".

Читатель вправе спросить, какая связь существует между высоким долгом российской интеллигенции и наблюдениями автора статьи. Отвечу – прямая. Напомню, что определяющим компонентом художественной культуры всегда были и остаются ее создатели – творцы. И какова культура творца, такова и культура общества.

Меня побудило поднять эту тему прочтение новой повести "Веселый солдат" давно и безгранично мне дорогого человека – В. Астафьева. События повести ошеломляют своей жгучей, прошедшей через сердце писателя правдой. Молодые защитники Родины, люди, спасшие ее в годы самых великих потрясений первых лет войны, говоря языком автора, сдыхают в госпитале, где "правят бал" блатные. Гниют под гипсом кости молодых людей. Нет питания, внимания, заботы. Ненужность жизни, отсутствие памяти… Какой уж тут Ремарк с его "На западном фронте без перемен"!

Нет смысла пересказывать трагедию. Ее надо читать. Дело в другом – в языке авторского повествования. Сказать, что язык повести приближен к языку казармы, – не сказать ничего. Казарма, как бы она ни была груба, никогда не приблизится к языку автора, хотя бы потому, что автор умнее, талантливее казармы, он – мастер. Но, не побоюсь сказать, – он выступает в этой повести, как величайший разрушитель эстетики русского языка, перед которым Алешковские, Лимоновы, Ерофеевы – первоклассники.

Я провел эксперимент – попросил школьных учителей литературы на курсах ИПКК прочитать вслух перед своими товарищами небольшой фрагмент повести Астафьева. Они не смогли. Нравственно. По-человечески. Читать похабщину, в которой не просто мат на мате, но которая вызывает изумление еще от какой-то патологической извращенности мышления, по-моему, присущей не столько героям повести, – они же молодые люди, – сколько автору, от ненависти к нашей истории.

Автору можно простить, допустим, слова, в которых упомянут маршал Жуков. Но простить и объяснить написание повести языком сортирного фольклора – немыслимо.

Не мне принадлежит наблюдение, что особенностью многих произведений современной литературы является неуважение к ее читателю. Однако, можно не любить свою историю, но издеваться над ней – все равно что издеваться над своей старой и изможденной матерью.

Мне, как каждому из нас, доводилось читать о трагических перипетиях истории. И все мы, я думаю, не всегда довольствовались объяснениями ее истоков, причин. Но это не занчит, что можно обращаться с площадной бранью к своим товарищам по несчастью или,

если хотите, – "по оружию". Где-то надо остановиться. Разрушение культуры – разрушение личности, а личность в литературе – язык, память, культура.

Мне больно поднимать голос против мастера, который сегодня чуть ли не единственная "совесть" (кстати, затертого слова) нации, но и молчать об этом – нельзя.

В сегодняшнем разладе, когда люди, не имеющие к искусству ни склонности, ни таланта, навязывают нам свои "убеждения" (достаточно прочитать интервью с Марининой в "Комсомольской правде" – стыдно!), невольно задумываешься о судьбах отечественной культуры. Неужели мы падаем в пропасть?

Долго, слишком долго мы не знали трудов немецкого философа Шпенглера. Сегодня он, точнее, его книга "Закат Европы" – в руках студентов. Неужели мы, наша культура, завершаем очередной, а теперь уже и последний, девятый (у Шпенглера – восьмой), цикл в истории мирового развития?! Страшно думать об этом. Но ведь не думали и люди погибающих культур – Греции, Рима, Византии. Не дай Бог, чтобы его пророчество сбылось. А впрочем, на все – Божья воля. Живем одним днем. После нас – хоть потоп?

Несколько лет назад в одной статье я прочитал горькую мысль автора о том, что пройдет время – и многим из пишущих сегодня станет стыдно за написанное. Но время идет, а признаков раскаяния и даже элементарного стыда у пишущих нет. Напротив, эйфория низвержения ценностей социализма достигла апогея, стала модной, с одной стороны, обнаружив отсутствие нравственной и политической, как, впрочем, зачастую и художественной культуры, а с другой, – подавая пример подленного приспособленчества к изменяющейся политической коньюктуре. При этом у целого ряда авторов даже не возникает мысли о том, что они будут делать, если жизнь войдет в нормальное русло и потечет по человеческим законам. Вероятно, снова перестроятся? Ну да ладно, им виднее, воспитывать их никто не собирается. Горько другое – деструктивные силы обрушились на светлое имя Ленина, на его ближайшее окружение.

Вспомним подзабытые строки очерка Горького "В.И. Ленин". Анализируя отклики на смерть Ленина в буржуазной прессе, Горький писал, что некоторые даже из стана его врагов честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, "который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность".

А вот другое важное наблюдение писателя. "Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разума".

Вот оно оказывается как. И сегодняшним ниспровергателям Ленина не грех разок-другой заглянуть в очерк Горького, в другие забытые в наши дни книги, а на досуге по-

размыслить об истоках политической, нравственной и художественной вакханалии вокруг личности и творческого наследия человека, отдавшего жизнь освобождению трудящегося люда.

Отметим сразу, что Октябрь 1917-го (и пусть, как писал академик С. Шаталин, вторя А. Солженицыну, во всем мире называют его "Октябрьским переворотом" или "Октябрьской авантюрой Ленина и Троцкого") разделил всех деятелей культуры на два лагеря – тех, кто всем сердцем воспринял идеи революции, кто черпал в них вдохновение, и тех, кому они оказались чужды, кто проклинал Октябрь, Ленина. Первые из них заложили основы искусства, воспроизводящего живой творческий порыв народа к свободе, земле, свету. Они заложили основы художественной ленинианы. Лучшие из них (В. Маяковский, С. Есенин, М. Шолохов) делали это настолько талантливо и проникновенно, что их произведения полюбились миллионам читателей во всех уголках планеты, по праву заняв свои места рядом с классиками отечественной и зарубежной литературы.

Другие… О них разговор особый. Их до последнего времени мы не знали. Только сегодня, благодаря гласности, мы знакомимся с ними в потоке возвращенной литературы, литературы русского зарубежья.

Журнал "Наш современник" (№1 за 1990 год) познакомил нас с "Воспоминаниями" Ивана Бунина. Там напечатаны три очерка: "Горький", "Маяковский" и "Гегель, фрак, метель". "Воспоминания" эти вышли в Париже в 1950 году.

Из истории литературы нам известно, что Бунин не принял революции. Читая очерк, мы начинаем понимать, что он воспринял ее воинственно. Когда он пишет о революции, ее вождях, ее художниках, чувство объективного художественного анализа изменяет писателю и на первый план выплескивается темная злоба, сарказм, опплевывание всего и вся. Интеллигент в Бунине вытесняется мещанином, а интеллект – инстинктом. Чего стоят следующие строки из очерка "Маяковский":

"Но вот наконец воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифилитик Ленин, начинается та эпоха, о которой Горький незадолго до своей насильственной смерти брякнул: "Мы в стране, освященной гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина!" Воцарившись, Ленин, "величайший гений всех времен и народов", как неизменно называет его теперь Москва, провозгласил:

"Буржуазный писатель зависит от денежного мешка, от подкупа. Свободны ли вы, господа писатели, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинках, проституции в виде "дополнения" к "святому искусству" вашему?"

"Денежный мешок, порнография в рамках и картинках, проституция в виде дополнения..." Какой словестный дар, какой убийственный сарказм! Недаром твердит Москва и другое: "Ленин был и величайшим художником слова". Но всего замечательней то, что он сказал вскоре после этого:

"Так называемая "свобода творчества" есть барский анархизм. Писатели должны непременно войти в партийные организации".

Неточное цитирование, произвольное истолкование ленинских мыслей – именно в "Воспоминаниях" были заложены многие их этих, не вполне честных и чистых приемов, что взяли на вооружение современные ниспровергатели Ленина. Учиться – так у классиков.

Откроем № 10 журнала "Октябрь" за 1990 год. Небольшая водевильная история В. Войновича "Фиктивный брак". Немолодой, естественно, лысый, не от мира сего инженер за рюмкой вина рассказывает фиктивной жене эпизоды своей жизни. Акцент сделан на том, как он в заводской самодеятельности играл роль Ленина. Вот небольшой фрагмент из этой водевильной истории.

"Она – Ленина? Никогда не поверю. Хотя вообще-то похоже. Плешь точно такая.

Он – Плешь тут ни при чем. Плешь и налепить можно. А главное уметь изобразить. Во всей простоте и величии. (Неожиданно преображается, вскакивает на стул, говорит быстро, громко и сильно картавя). Октябрьская революция, о необходимости которой всегда говорили большевики, свершилась!..

Она – (Смеется до слез на глазах, до истерики). Ха-ха-ха! Ой, не могу? Ой убил! Зарезал!

Он – (доволен). Что, похоже?

Она – Жуть как похоже! Как это... социалистическая революция... (Опять смеется). Ой, не могу! Так, пожалуй, и чокнуться можно! Слушай, а чего он так картавил?

Он – Ну мало ли чего! У разных людей бывают всякие дефекты. Речи и всего остального.

Она – А мне говорили, что он был еврей".

Если принять во внимание, что приведенная сцена вытекает из предыдущей, где Она выясняет его дееспособность (особенно ее интересует, нет ли у него склонности к гомосексуализму), а продолжается сценой пересказывания пошлых анекдотов – картина становится полной.

Не думаю, что это остроумно и талантливо. Суконный язык убогих персонажей, мещанское глумление над тем, что выше тебя в сотни, тысячи раз – элементарная позиция обывателя, взбесившегося от вседозволенности и надутого чванством. Но кого-то эта по-

зиция устраивает, и тот, кого она устраивает, поет дифирамбы автору, ставя его имя в один ряд с воистину великими сатириками земли русской.

Но вернемся к "Воспоминаниям" Бунина. Не приемля Ленина, социализм, Бунин не приемлет и творчество тех художников, кто прочно связал свою судьбу со строительством нового общества. Его ненависть вызывает поэзия С. Есенина, Д. Бедного. Б. Пастернака, В. Маяковского. Особую ненависть вызывает Маяковский. Вот какие фразы подыскал Бунин, чтобы опорочить его творчество.

"Под небом РКП при начале воцарения Ленина ходил по колено в крови "революционный народ", затем кровопролитием занялся Феликс Эдмундович Дзержинский и его сподвижники. И вот Владимир Маяковский превзошел в те года даже самых отъявленных советских злодеев и мерзавцев. Он писал:

Юноше, обдумывающему житье,
Решающему
сделать бы жизнь с кого,
скажу, не задумываясь
делай ее
с товарища Дзержинского!

Он призывал русских юношей идти в палачи, напоминал им слова Дзержинского о самом себе, совершенно бредовые в устах изверга, истребившего тысячи и тысячи жизней:

"Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает свою жизнь за других".

А наряду с подобными призывами не забывал Маяковский славословить и самих творцов РКП, – лично их:

Партия и Ленин
кто более
матери истории ценен?..
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов
от Политбюро
чтобы делал доклады Сталин".

Одним словом, "Маяковский с его злобной, бесстыдной, каторжно-бессердечной натурой, с его площадной глоткой, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тех дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы

стиха, а этим стихом выразить все то гнусное, чему он был столь привержен, и все свои лживые восторги перед РКП и ее главарями".

Смешивать с грязью участников Октября, старую ленинскую гвардию, под видом гласности и эгидой плюрализма не очень тактично, но это вполне последовательно делают сегодня некоторые издания.

"Наш современник" (№ 2 за 1990 год) опубликовал очерк Алданова "Убийство Урицкого". Из очерка мы узнаем, что убийца Урицкого Леонид Канегиссер "был исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений". А вот "Урицкий был комический персонаж. Мне приходилось его видеть. В моей памяти остались невысокая, по-утиному переваливающаяся фигура, на кривых, точно от английской болезни, ногах, кругленькое лицо без бороды и усов, смазанный чем-то аккуратный проборчик, огромное пенсне на огромном носу".

"В Троцком все отвратительно – от его острой улыбочки до приставных манжет, неизменно выскакивающих из рукавов в патетические моменты речи. Физиономию Зиновьева я затруднился бы даже описать в литературных выражениях".

Вполне логично, что ниже всплывает характеристика Плеханова и Ленина: "Покойный Плеханов, подобно Ленину и Сарре Бернар, любил окружать себя бездарностями".

Невольно задаешься вопросом, – не ради ли этой характеристики Ленина написан весь очерк.

Смею выразить уверенность, что большинство ниспровергателей, ослепленных злобой к социализму, труды В.И. Ленина никогда серьезно не изучали. Но политические амбиции для них выше истины. Они никогда не признаются в своей безграмотности. Как это не изучали? Проштудировали все полное собрание сочинений. Даже цитат малоизвестных надергали, снабдив их глубокомысленными комментариями и сомнительными выводами, как это сделал, к сожалению, талантливый русский писатель В. Солоухин в очерке "Читая Ленина". Беседа с Солоухиным о мотивах написания очерка ("Огонек", № 51 за 1990 год) названа "Расставание с богом". Не хочу ее комментировать, но напомню, что предисловие к ней написал В. Коротич, и оно заканчивается любопытным воспоминанием. Рассказывая корреспонденту итальянского телевидения о посещении Мавзолея, редактор журнала "Огонек" наткнулся на прямой вопрос: "А Ленин? Скоро ли вы заговорите о нем всерьез и, может, даже изымете его из поминальников?"

Если верить автору, это поставило его в тупик и он развел руками. "Может быть, уже пришло время скрестить в советской прессе разные точки зрения о вашем основоположнике? – настаивал интервьюер.

"Возможно, что и время, – ответил я. – Давайте поговорим, но аргументированно в вдумчиво."

Однако, на мой взгляд, аргументированности и вдумчивости о Ленине в литературе последних лет мало.

Можно было бы продолжить анализ ленинской, точнее, антиленинской темы на страницах нашей печати. Но признаюсь, у меня это не вызывает воодушевления. Я хочу напомнить читателю строки о Ленине, принадлежащие двум великим русским людям, одинаково далеким от ленинских идей революционного преобразования мира. Но эти люди сделали духовное усилие стать выше борьбы сторон, увидеть не только ложь, но и правду его учения. Один из них был насильственно выслан из России, второй уехал сам. Первый – Николай Бердяев, второй – Федор Шаляпин.

Вот как характеризовал Ленина Н. Бердяев в работе "Истоки и смысл русского коммунизма":

"В характере Ленина были типически русские черты, и не специально интеллигенции, а русского народа: простота, цельность, грубоватость и нелюбовь к прикрасам и к риторике, практичность мысли. По некоторым чертам своим он напоминает тот же русский тип, который нашел себе гениальное выражение в Л. Толстом, хотя он не обладал сложностью внутренней жизни Толстого. Ленин сделан из одного куска, он монолитен. Роль Ленина есть замечательная демонстрация роли личности в исторических событиях".

А вот как описывает свою встречу с Лениным Шаляпин в упоминавшейся книге "Маска и душа. Мои сорок лет на театрах".

Причиной съездить в Москву и "поговорить... с самим Лениным" послужил циркуляр новоиспеченного чиновника, предписывающий передать реквизит, костюмы, декорации Мариинского театра провинции, в которой "народ"... "живет-де во тьме".

"Я вошел в совершенно простую комнату, разделенную на две части, большую и меньшую. Стоял большой письменный стол. На нем лежали бумаги, бумаги, у стола стояло кресло. Это был сухой и трезвый рабочий кабинет.

И вот из маленькой двери из угла покатилась фигура татарского типа с широкими скулами, с малой шевелюрой, с бородкой Ленина. Он немного картавил на "р". Поздоровались. Очень любезно пригласил сесть и спросил, в чем дело. И вот я как можно внятнее начал рассусоливать очень простой, в сущности вопрос. Не успел я сказать несколько фраз, как мой план рассусоливания был немедленно расстроен Владимиром Ильичом. Он коротко сказал:

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я все отлично понимаю.

Тут я понял, что имею дело с человеком, который привык понимать с двух слов, и что разжевывать дел ему не надо. Он меня сразу покорил и стал мне симпатичен".

Думаю, что приведенная сцена в комментариях не нуждается. И вообще, на этом бы можно закончитьраздел. Но…

В 1976 году в издательстве "Прогресс" вышел двухтомник "Вашим, товарищ, сердцем и именем... Писатели и деятели искусства мира о В.И. Ленине". Джон Рид, Герберт Уэлс, Цюй Цюбо, Ромен Роллан, Анри Барбюс, Бернард Шоу, Бертольд Брехт. Имена известных всему миру людей, чей разум и творчество создавали основы современной культуры и к голосу которых прислушивается человечество. У великих людей нашлись и глубокие мысли, и добрые слова о В.И. Ленине. А могло ли быть иначе? Ведь отношение к Ленину – едва ли не главный показатель уровня нашей цивилизованности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Литературная газета. 1989. 8 февр.
2. С. Чупринин. Другая проза // Там же.
3. Ф. Кузнецов. Конфуз с "Метрополем" // Московский литератор. 1979. 23 февр.
4. В. Ерофеев. "Москва-Петушки" // Трезвость и культура. 1989. №12; 1990. №№ 1-3.
5. Знамя. 1998. № 2.
6. Вопросы философии. 1998. № 10.
7. Юность. 1989. № 11.
8. Новый мир. 1988. №№ 5-6.

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫНА АМУРЕ

Размышления о современном литературном процессе были бы неполны, если ничего не сказать о литературной жизниАмурской области. Напомнить вехи, традиции. А ведь они были, есть, они сохраняются. Еще в 1951 году вышел в свет первый номер литературно-художественного альманаха "Приамурье", который стал заметным явлением в культурной жизни области, поскольку стимулировал творчески рост литераторов и, прежде всего, пишущей молодежи. С тех пор вышло более полутора десятков номеров альманаха "Приамурье" и сборников "Приамурье мое".

На обложке сборника "Приамурье мое – 1969" – изображение створа строящейся Зейской ГЭС. Разбуженные мощными взрывами, ревом экскаваторов и самосвалов таежные хребты Соктахана и Тукурингры. Место будущего, а теперь уже реального первенца дальневосточной энергетики. И сегодня невольно задумываешься о громадном человеческом вкладе в это техническое чудо, о неизмеримых нравственных затратах рабочих и инженеров-геологов и топографов, которые пришли в эти места с единой целью – дать людям энергию.

И, думается, был большой художественный смысл в том, что сборник открылся повестью "Живые борются" Г. Федосеева – писателя, который содержанием и пафосом своих произведений, по образному выражению Мариэтты Шагинян, дает читателю "яркое ощущение нравственной силы человека, нравственной закалки его при долгой жизни лицом к лицу с суровой и подчас грозной природой".

Гибнет, спасая на воде рюкзак с важными государственными документами, главный герой повести Виктор Хорьков. Но даже сама его трагическая смерть оборачивается пафосом утверждения жизни будущих поколений. Оптимизмом и гордостью Человека с большой буквы звучит одна из заключительных строк: "И даже после смерти, в заводи, куда снесла его вода, он стоял на ногах, держа в поднятой руке рюкзак с материалом, как бы готовый еще продолжать борьбу".

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что повесть Г.Федосеева на десятилетие определила главную направленность литературно-художественного сборника "Приамурье мое", на страницах которого создавалась художественная летопись трудовых буден амурчан.

Редколлегия сборника вернулась к его творчеству еще один раз, опубликовав в книжке "Приамурье мое – 1971" повесть "Меченый", которая с поразительной силой поднимает тему природы, как бы предостерегая нынешнее поколение от чрезмерного насилия над ее воистину сказочной кладовой.

Эстафету Федосеева, писавшего о мужестве людей, преображающих наш таежный край, на страницах сборника подхватил А. Побожий. В сборнике "Приамурье мое – 1974" было опубликовано его повествование о первопроходцах Байкало-Амурской магистрали "Второй путь к океану". Повесть имеет ретроспективный характер. Она рассказывает о начале строительства БАМа, о событиях, отдаленных от нас более чем пятидесятилетием, но которые сегодня особенно дороги нам еще и потому, что в тридцатых годах изыскатели,работающие на трассе, могли только мечтать,что стальные рельсы пролягут от Тайшета до Советской Гавани.

Размышляя над причинами обращения литераторов к недавнему или далекому прошлому прихожу к выводу, что писателям интересно сегодня пройти тот исторический путь развития, который в корне изменил социальный, нравственный духовный уклад. Что приобрели, а что потеряли в трудной дороге люди, каковы уроки этого процесса, теперь уже свершившегося, но не отошедшего только в историю, ибо следствие не всегда оправдывает причину, – вот повод для художественных раздумий о времени, о народе и о Родине.

Думается, что в приведенных размышлениях схвачена одна из особенностей литературного процесса наших дней. Писатели ищут в прошлом зерна, первооснову последующих событий, стремятся открыть преемственную связь времен.

Так обстоит дело и с повестью А. Побожия. Ключ к разгадке ее художественного замысла заключается в нравственном долге писателя, в его потревоженной памяти, которая, как признается сам автор, "независимо от воли и сознания человека, в глубине своей сохраняет то, без чего наша жизнь была бы намного беднее... Снова очутившись в этих местах и снова целиком захваченный задачами того же дела**,** я вспомнил многое, чему, казалось, суждено было остаться лишь смутным воспоминанием. Ожили полузабытые люди, – зазвучали отзвучавшие речи. Я почувствовал,что мой долг – рассказать... о тех, которые прошли здесь первыми".

Повествование Побожия – страстный, художественно-документальный рассказ об изыскателях, "творческих, неповторимых в своем инженерном почерке" людях, прокладывающих железнодорожную трассу от Комсомольска-на-Амуре до порта Советская Гавань.

Осознание своего гражданского долга, выкристаллизовывание чувства хозяина страны, отвечающего за судьбы пусть еще не родившихся людей, определяют пафос повествования о первопроходцах.

Символично окончание повести: "Хочется еще и еще рассказывать освершениях изыскателей. Но где-то надо ведь поставить точку. Может быть, с тем, чтобы начать с это-

го места новую страницу о Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, о героическом труде людей, работающих на этой стройке века".

Уже следующий сборник, "Приамурье мое – 1975" – по социальной значимости помещенных в нем произведений прозы, поэзии, графики и художественной фотографии пронизан темой строительства Байкало-Амурской магистрали. И это закономерно. В стройке века, как в фокусе, отразились характеры и судьба тысяч людей, создающих "необычайное произведение искусства, великое по размерам, назначению, нужности людям". Приведенная цитата взята из повести Б. Машука "Трудные километры", задавшей идейно-тематическую направленность сборнику в целом.

Вспомним призыв Горького – "искать вдохновений и материалов в широком и бурном потоке труда, создающего новые формы". Вспомним романы Л. Леонова, М. Шагинян, В. Катаева, И. Эренбурга, утвердивших в тридцатые годы новый – "производственный" жизненный материал как полноценно эстетический. Но, если произведения этих годов запечатлели процесс становления нового героя в сложнейших взаимоотношениях характеров и обстоятельств, герои "Трудных километров", в известном смысле, – сложившиеся характеры сложившихся людей, "объединенных делом и целью, – живущих ритмом и напряжением особенного порыва".

Особенный порыв – это необходимость за одну предпраздничную ночь уложить рельсы стальной колеи до ста трех километров. Такого на трассе еще не бывало**,** бригада шла на рекорд. Но шла на рекорд не ради самого рекорда. Сто третьего километра ждала вся трасса. "Сами ж, в конце концов, – подытожил раздумья скромный бригадир Бурьянов, – рвали жилы ради права на эти километры."

Героический труд бригады на укладке рельсов автор повести сопрягает с титаническими усилиями тысячи людей, большинству которых, как и шоферу Гафурову, "не все равно где вкалывать, за что получать деньги", "не безразлично, что происходит на дороге".

И это чувство внутренней, личной ответственности за строительство, личной причастности к великому государственному делу самых рядовых парней, "умеющих делать даже то,что на пределе человеческих сил", – делает повесть социально значимой, нужной сегодняшнему читателю.

В статье Г. Семенихина "Время творческих порывов" в числе произведений, обративших на себя внимание широкого читателя, указывалось на роман В. Евдокимова "Золотой Гилюй". Первая часть этого романа была (в сокращении) опубликована на страницах сборника "Приамурье мое – 1970".

Хотелось бы отметить, что под рубрикой "Страницы прошлого" сборник периодически воссоздавал историю заселения и освоения края, историю борьбы рабочего класса и крестьянства Приамурья за установление Советской власти, восстановление народного хозяйства.

В одном из номеров сборника была помещена глава из книги писателя Андрея Соболя "Записки политкаторжанина" – "На Амурской колесухе". Автор за революционную деятельность в 1906 году был осужден царскими властями на каторгу. Его воспоминания о каторге, где господствовали "права и обычаи американских плантаций времен рабовладельчества", где "закон в руках разнузданного надзирателя, унтера", "...в зависимости от того, как поел надзиратель или часовой, как он выспался", – это не потерявшее своей художественной и нравственной силы обличение того омерзительного строя, который был сметен вихрем Октября, и который, к сожалению, навязывается нам сегодня под видом созидания демократии и правового государства.

Идейно-тематически с воспоминаниями Соболя перекликаются события романа Евдокимова. В соответствии с исторической правдой автор показывает тяжелый полукаторжный труд приискового люда по добыче золота. "Люди лихорадочно суетятся в ямах, канавах, снуют на эстакадах возле промывальных машин-кулибин и крутят, крутят с тачками по дощатым настилам беспрерывную потную карусель".

Сергей Костров, один из главных персонажей романа, "худой, почерневший, с провалившимися глазами, по ночам бредил, стонал от ноющей боли в руках, вскрикивал вдруг, содрогаясь всем телом: во сне тяжелая тачка увлекала его вниз с двухсаженной высоты". А вокруг "обсчеты, обмеры, штрафы сыпались, как из худого мешка, то и дело прыгали цены в лавках".

И, думается, как сообщил в предисловии автор, стремление "показать, как забитый, угнетенный, пестрый по своему составу приисковый рабочий люд поднимается на борьбу в стихийном протесте, как постепенно крепнет его классовое сознание", нашло реальное художественное воплощение в образной ткани повествования.

Опубликованную часть романа отличают динамизм событий, психологическая мотивированность поступков героев, индивидуальные речевые характеристики.

Хорошо известно и давно полюбилось читателям Приамурья творчество Н. Фотьева. В литературном обзоре дальневосточной прозы Г. Семенихина было отмечено, пожалуй, лучшее его произведение – повесть "Вы остаетесь за нас". (Первая часть повести – "Детство Осокиных" – была опубликована в сборнике "Приамурье мое – 1972"). Знание родной природы, быта, труда земляков сделало повествование интересным, доступным для широкого круга читателей.

Первые же строки произведения переносят нас в небольшую алтайскую деревню начала тридцатых годов, в семью вернувшегося из Красной Армии Ивана Осокина. Стремление отыскать героическое в незаметном, будничном, вызревание гражданского мужества определяет пафос повествования, своим острием направленного против ложной героики, красивых фраз, прозы. Труд, именно труд определяет мировоззрение, по существу, неграмотной семьи Осокиных, уважительное отношение к "инородцам" – алтайцам, ойротам, шорцам, казахам. Вместе с дедом Федором Романовичем мы не верим, что есть народы первосортные и второсортные. Дед сам взял жену из зырян. Советская же власть всех уравняла в человеческом достоинстве.

Думаю, не ошибусь, сказав, что лучшие страницы повести рисуют красоту труда. "Генке всегда страсть как глянулось смотреть на сильную мужскую работу. Дрова ли мужик колет, землю ли копает, сено ли мечет, сруб или мостик ладит – все это самое отрадное зрелище..." "Любо смотреть на сильную и дружную работу! Идут мужики с широких покостей к логу, выстроились косым широким крылом, как журавли в полете, и машут косами, будто крыльями".

Постепенно, мучительно открывается великое предназначение – быть на земле человеком, "пожить на земле славно и оставить после себя что-то вечное".

Переезд семьи, вступление в колхоз, школа, война, на которую ушли отцы, чтобы, исполнить до конца свой воинский долг, пасть смертью храбрых "где-то в Латвии, близ деревни Шварцы", и наконец, выбор пути, решение большого вопроса – как стать полноправным гражданином Родины, вскормившей и воспитавшей тебя, как достойнее пронести по миру эстафету революции, – пожалуй, основные проблемы, которые поднимает повесть.

Тема труда, производственная тема, – да, именно она определила тематическую направленность сборника. Можно согласиться с героем повести Д. Епифанова "Квартирант" ("Приамурье мое –1975"), внутренне несогласным с тем, что в библиографических разделах некоторых журналов подходят к литературе с чисто производственных позиций. Его герой восстает против упрощенчески вульгаризированного подхода к литературе. Это естественно – ведь содержанием и материалом ее является человек, человек в его сложных связях с другими людьми, с обществом, природой. Ведь именно через художественный анализ этих связей, через социально-психологическую характеристику их носителей раскрывается то главное, что мы называем характером литературного героя.

Да, можно согласиться. Но ведь можно и поспорить. В повести того же Епифанова "День забот" ("Приамурье мое – 1977") вышедшая на пенсию бригадир маляров Наталья Ильинична пришла в свою бригаду. "С лесов, как горох, посыпались девчата... Окружили,

подхватили, обняли. – Девочки, с ума сошли! Испачкаете... А потом у самой слезы выступили. Осмотрела сырые, свежеоштукатуренные стены и вздохнула. Тридцать шесть лет – не два дня – вся жизнь. Сколько она их обштукатурила, сколько покрасила... С этой жизнью связано все самое главное – главные волнения, главные радости, и самые большие боли, и самые захватывающие взлеты. О чем говорить? Жизнь – в работе. И то, что было в жизни связано с работой, – то и есть главное".

Размышления героини, активно утверждающей честь, нравственное достоинство рабочего человека, как никогда, естественны для социалистического искусства: ведь "быть на земле человеком", – прежде всего, быть тружеником.

Был таковым и остался им до седых волос герои юмористической повести В. Лецика "Дед Бянкин – частный сыщик" ("Приамурье мое – 1977"). Неймется деду, вышедшему на заслуженный отдых. Блюдет дед государственную собственность – золото. Нелегко оно достается, это он своей жизнью познал. Но один хозяин у него – государство. И выслеживает дед, выслеживает несуществующих преступников, попадая в "критические" ситуации, вызывающие улыбку, смех. Теплое, приближенное к киносценарию юмористическое повествование о "невероятных приключениях" Бянкина отличают хороший литературный язык, чувство эстетической цельности, внутренней законченности.

"Тема Бянкина" сопутствует творческому воображению автора и в его рассказах, представленных на страницах книги, – "Раз на раз не приходится" и "Петух с глушителем". Незлобивая юмористическая манера не изменила автору. Первый рассказ об Аркаше – "сто рублей убытку" и его жене Альбине, за "округлость и необъятность форм" перекрещенную в Орбиту, о его неудачной попытке накосить сена на зиму (без Бянкина не обошлось) и о конечной победе над собственной слабостью.

Рассказ "Петух с глушителем" более динамичен. Продумана занимательная интрига, выстроен сюжет. Может быть, слишком прямолинейно расставлены акценты. Автор наделен богатым воображением. Он большой выдумщик. В какой-то мере его поэтическая фантазия опережает пока еще небольшой жизненный опыт. Но автору присуще чувство меры, чувство цельности произведения. Поэтому его рассказы законченны.

С творчеством В. Лецика на VII Всесоюзном совещании молодых писателей познакомился Василь Быков. Он отметил, что представленные для обсуждения рассказы "произвели хорошее впечатление доскональным знанием уклада и обычаев жизни таежного поселка, легким, свободным стилем литературного языка, мягким, ненавязчивым юмором. Художественные образы в рассказах самобытны и характерны, что называется, взяты из жизни. Владислав Лецик по складу своего дарования – новеллист. В жанре небольшой повести у него также заметны успехи. Мне думается, что в дальнейшем диапазон его

творчества не ограничится таежной темой. Ему по плечу многое, и мы вправе надеяться на приход в литературу самобытного и одаренного прозаика".

В 1984 году в Амурском отделении Хабаровского книжного издательства вышла книга повестей и рассказов В. Лецика "Пара лапчатых унтов", в которую наряду с названными произведениями вошли рассказ "Божья роса" и повесть "Пара лапчатых унтов". Однако с той поры автор не спешит радовать читателя новыми приключениями полюбившегося сыщика. А жаль...

На наш взгляд, тема Бянкина – тема поколения, опыт которого не канул в Лету, не стал анахронизмом, – благодатна и в художественном отношении. Воссоздавая характеры людей старшего поколения, она подчеркивает преемственность поколений советских людей, объединенных одним долгом, одним нравственным началом.

Вне рассмотрения этой преемственности трудно разгадать замысел повести А. Терентьева "Живут старик со старухой" ("Приамурье мое – 1979"). Главный герой – дед Матвей, – выйдя на пенсию, тут же объявил хозяйке свой план: ехать в деревню. "Там-то уж никаких отделов кадров нет, и они найдут, чем заняться". Чем же заняться деду? "Все покосы – на этой стороне озера… Как не подобрать ненадерганное и притоптанное скотом сено? За труд эти дела дед Матвей не считал"

Повесть В. Корчагина "Минька", повесть о друге, – теплые, непритязательные воспоминания о временах "босоногого детства", которое так много значило во всей дальнейшей судьбе автора, позади у которого и далекая уже юность, и пора возмужания, и фронтовые пути-дороги**...**

Хорошо, когда, воскрешая прошлое, память цепко выделяет события, человеческие поступки и деяния, способствующие становлению характера современника, живущего сейчас в совершенно иных условиях, пользующегося иными нравственными критериями при оценке многих жизненных явлений. Обращение к памяти – это тоже традиция сборника. В этом смысле характерна публикация талантливого, взволнованного, окутанного "светлой и печальной радостью", повествования С. Стародуба "С девятой версты". Время далекой, трудной юности, "утраченных иллюзий" и "невосполнимых потерь" поэтично воскрешает в нашем сознании образы ушедших из жизни, но незабытых тружеников Благовещенска. И облик самого города, с самобытным пульсом его духовной жизни, культуры, надеждами и думами, устремленностью в будущее. Преданность земле, которая родила, выпестовала и собрала тебя в дорогу, – лейтмотив повествования. Гордые слова – земляк, дальневосточник, амурчанин – как бы символизируют то изначальное, кровное, что в сознании советского человека ассоциируется с высоким понятием Родины.

В 1991 году вышла книга благовещенского прозаика А. Воронкова "Охота на красного волка". О чем она? В ней многое – и "запахи молодости, и щемящие воспоминания", и "голубые горы и голубая река", и тайга, погрузившаяся "в осенний летаргический сон", и протока "Кривиниха", разбухшая, "словно беременная баба" и, конечно, мужики "хитрые и тертые" как персидские купцы".

Впрочем, обо всем по порядку. В аннотации к книге подчеркнуто, что это первая книга амурского автора, по профессии журналиста. "Его повести и рассказы – о наших с вами современниках и земляках, их повседневном существовании, заботах и тревогах, о природе и человеческой душе, что скудеют на наших глазах и не без нашего участия. Они заставляют задуматься о проблемах мира, в котором мы живем". И с этим в принципе нельзя не согласиться.

Настрой книге дает первый рассказ – "Охота на красного волка". Суть его в том, что для областной станции юннатов где "у самого главного в области жена… не то директором, не то еще кем" потребовался красный волк, живой и невредимый. Устраивается облава, точнее – кровавая бойня. Ее итог – волки – красно-рыжие, пушистые, в белых "носочках" ...мертвые растерянно смотрели на мир остекленевшими глазами". "Тусклый расплывчатый шар перекатился через далекий хребет и долина таежной реки потускнела. Пахло порохом, псиной и кровью.

– Все люди сволочи! – проговорил Осип Радаев. Он стоял на коленях перед только что пришедшим в сознание братом. – Все мы – вот эти сильные красные волки. То мы за кем-то гоняемся, то наоборот, нас бьют. Так и живем, так и мучаемся".

Авторская позиция в рассказе, как, впрочем, и во всех остальных произведениях книги, четко очерчена. Симпатии автора на стороне тех, кто всю жизнь трудился, честно зарабатывал свой хлеб, не приспосабливался и, конечно, по-человечески относился к окружающему миру, будь то животное или дерево.

"В каждом человеке, даже в самом последнем, должно быть человеческое… Я так думаю: можно жить бичом – без денег, без угла, но без правды, без совести – шалишь. Тот уже не человек, кто без этого" (Рассказ "Сочинение на свободную тему").

Духовная жизнь героев книги – охотников, золотодобытчиков, лесорубов, моряков и даже учителя из таежного поселка – не отличается глубиной и четкостью философских позиций, но это было бы и нелепо. Зато этим людям хорошо известны элементарная человеческая порядочность, чувство локтя, у них за плечами немалый нравственный опыт. Их души болят за афганцев, ненавидят "всех этих шумных людей, которым надо – подчинить тебя, а не то – переломить через колено". (Рассказ "Мужские игры"). Учитель Борин (повесть "Словесник Борин") "пришел к твердому убеждению, что все беды на свете – от не-

достатка в людях культуры". Добрыми и умными, считал он, могут быть только люди, наделенные интеллектом и культурой.

Авторские симпатии определяют и характеристики его героев. Вот штатные охотники братья Радаевы – "молодой увалень Иван и зрелый мужик Осип. Оба лохматобровые, медвежеватые", "Выделялся рассудительностью и сметкой бородатый, похожий на старовера мужик по фамилии Шарыгин". ("Охота на красного волка").

Михалыч ("Сезон змееголова"): "Живой, широкий в кости... Руки у Михалыча в трудовых буграх... Лицо... простое, с рыжинкой, светлое от всегдашней доброй улыбки".

Симпатии автора полностью на стороне этих героев-тружеников. И заметно меняются характеристики персонажей, не симпатичных автору. Таков "верткий мужичок Зудов... шашлычный человек". У него "цепкие глаза-бусинки и будто приклеенная неживая улыбка". ("Охота на красного волка"). Внешность парня, вышедшего из леса: "На костистом теле торчала длинная лошадиная голова". Девицы в белой кепочке: "Хоть и молодая – уже какая-то заплывшая… Видать, свиным паштетом кормленная" ("Сон").

Автору дороги характеры простого народа. В наше недоброе время он воссоздал мужественные и добрые характеры дальневосточников. И это главное.

В последние годы вышли еще три романа А. Воронкова: "Потрясение" (1998), "Берег сомнамбул" (1999), "Крвасные казармы" (2000).

Заключая обзор литературной жизни Приамурья, следует оговориться, что мы коснулись далеко не всех произведений. Наш анализ мы ограничили рассмотрением ведущего жанра – повести, рассказа и только в одном случае романа.

А ведь литература Приамурья начиналась с поэзии:

Еще в 1894 году в Благовещенске вышла книга П.Ф. Масюкова "Отголоски с верховьев Амура и Забайкалья".

В ставшем библиографической редкостью аннотированном указателе А.В. Лосева [1] о Масюкове сказано следующее: "Поэт самоучка Порфирий Федорович Масюков (1848-1903) – уроженец Нерчинского округа Забайкальской области. Долгое время (вплоть до самой смерти) жил в Благовещенске, сотрудничал в "Амурской газете" и "Амурском крае". Масюков был патриотом своего края, выражал горячее сочувствие угнетенному народу. Будучи народником по своему умонастроению, поэт остро бичевал "денежных тузов", наживавшихся на страданиях народа. Стихи далеки от совершенства, но отличаются искренностью".

Разумеется, творчество Масюкова не означает рождение какой-то особой поэтической традиции Приамурья. Как не означает ее рождение и творчество П. Комарова, хотя строки его стихов – "Только в песне да и в сказке уместится Приамурье мое" – знакомы

большинству жителей области. Да и не существует особой поэтической традиции (не на безымянном же острове мы живем). Но книжка Масюкова – это точка отсчета, это начало литературной жизни у нас, это, в конечном счете, возможность вспомнить какие-то вехи в поэтическом развитии Приамурья, а главное, на мой взгляд, – поговорить о современниках.

И в то же время поэтический опыт предшественников не канул и не канет в Лету. Он, а точнее его изучение, дает благодатную основу для анализа поэтических пластов, которые составляют фундамент творчества наших современников.

Для моего поколения, для тех из нас, кто следил за поэтической жизнью в начале 60-х, не имеющим себе равных был Л. Завальнюк. Я помню, с каким трепетом читались его "Таежные баллады", особенно "Баллада о спрятанном оружии".

В зале постные лица,
В воздухе смрад разлит.
– Дайте опохмелиться, –
– Водки просил инвалид. –
На донышке… ради Аллаха,
– Уважь, благодетель мой…
А мальчишка стоял и плакал:
Папа, пошли домой…

У всех у нас, детей войны, слишком живы были воспоминания о голодном послевоенном детстве, все были легко ранимы, и чужие слезы и страданья вызывали естественное сострадание, как негодяи вызывали ненависть. И мы, как дети, радовались, что у мальчишки не оказалось пистолета, из которого он должен был застрелить человека, заставившего инвалида плясать.

А когда "Литературная газета" на первой полосе во Всесоюзный день поэзии напечатала стихи Л. Завальнюка, для нас это был буквально праздник. Эти стихи мы заучивали, строки из них и в более зрелом возрасте оставались для нас своеобразным паролем-приветствием, сразу говорящим, что ты свой, оттуда, – из 60-х.

Снова стихами повеяло
От молодой травы.
Я каждому слову поверю,
Которое скажете вы, –
Поверю, что вы наступаете
По руслам новых дорог, –
Прочтите мне только по памяти
Десяток хороших строк.
Неужто вы не заметили,
Как, погасив огоньки,
Вечер уходит медленный
По мостовой реки,
Как падает ночь на гравий

С первой каплей дождя?
Зачем же вы молодость грабите,
Мимо стихов идя?
Когда ничего еще не было,
Строкой пробив тишину,
Поэты открыли небо,
Поэты открыли весну,
Поэты оставили песни,
На ярком огне прожив,
Ни почестей громких,
Ни пенсий
Под старость не заслужив.
Они прошли великанами,
Покой обретая в бою.
Они отцвели и канули,
Оставив душу свою.
И, кровью сердца окрашенный,
Горит их высокий стих!
Мне жалко молодость вашу,
Идущую мимо них.
Чуть качнув на рессорах,
Время мелькнет, как тень.
И где-то лет через сорок
Вернется забытый день,
И вновь драгоценным слитком
Сверкнет этих строчек свет –
Подумать:
У этой калитки
Вам было шестнадцать лет…
И снова закат весенний
Раскинет свое крыло...
Мне жаль, что ваше веселье
Мимо стихов прошло.
Тучи – стадо овечье,
Дальних дорог гудки…
Уходит медленный вечер
По влажным сваям реки.
Последний отблеск играет,
За горизонт уходя,
И падает ночь на гравий
В синей капле дождя.

Я процитировал это стихотворение по сборнику "Лирика", вышедшем в Благовещенске в 1963 году. В аннотации к сборнику говорилось о том, что Леонид Андреевич Завальнюк родился в 1931 году. Жил на Украине, в Сибири, с 1951 года – в Благовещенске. Учился в ремесленном училище, в техникуме, работал откатчиком на шахте, фрезеровщиком на Алтайском тракторном заводе, служил в Советской Армии. Окончил Литературный институт, член Союза советских писателей. Печатается с 1952 года. В Амурском книжном издательстве вышли пять книг его стихотворений и песен, две повести. Стихи Л.

Завальнюка печатались в "Правде", "Литературной газете", в журналах "Новый мир", "Юность", "Дальний Восток", "Сибирские огни".

В том же году в Благовещенске вышла книжка стихов молодых амурских поэтов "Березовые окна". Шесть человек под одной обложкой. Для большинства из них – Игоря Еремина, Вениамина Колыхалова, Станислава Демидова и Владимира Петрова – это первые книги стихов. Сборник открывался стихами И. Еремина, будущего члена Союза советских писателей, безвременно ушедшего из жизни, но оставившего нам добрую поэтическую память. Особенно запомнилось стихотворение "Махорка". Впрочем, прочтите, и вы ощутите щемящую правду военных лет:

Я помню: пылью застилая солнце,
Шли торопливо к западу войска.
Мы у солдат уставших у колодца
Тихонько попросили табака.
Они глядели на худых мальчишек,
На их одежду, что была бедна,
Сказал сурово запевала:
– Ишь как
Разбаловались… Да и то – война…
Потом он вытащил кисет расшитый
И отдал нам.
И вдруг, в душе виня
Себя за это, пригрозил сердито:
– Войну закончим – будет вам ремня!…

В 1976 году Игорь Еремин и Борис Машук были приняты в Союз писателей СССР. Напутствуя молодых авторов, старейшина Амурской литературы Николай Фотьев отметил это немаловажное событие для культурной жизни Приамурья как возможность создать Амурскую писательскую организацию.

"Наверное, у каждого писателя, сколько бы он ни работал, главные книги – всегда впереди, а "покой нам только снится". Нелегок путь литератора, но и прекрасен. И хотелось бы, чтоб на пути этом земляки мои всегда являли пример духовной глубины и высокой гражданской заинтересованности в делах и жизни народа. Ибо это и только это отличает большую, настоящую литературу" [2].

Прием наших земляков в Союз писателей совпал с выходом в свет сборника "Приамурье мое – 1975", на страницах которого широко были представлены лирические раздумья И. Еремина. Автор этих строк в литературно-критическом обозрении сборника [3] отмечал теплоту и нежность, которой наполнены стихи Еремина. Раздумья о судьбах Родины, о тяжелом военном детстве, о гражданственности – вот обширный круг проблем, волнующих автора. Многогранность мира, художественное постижение его красок, характеров, личная ответственность за его судьбу искренне волнуют лирического героя, чувст-

вующего под корою холодного ствола "живые толчки", "как удары пульса", постигшего в голодном детстве глубокую и простую мудрость о щедрости добра и нищете скупости.

Стихи Еремина чужды рисовки, пластичны и образны. Автора отличает умение подметить, ухватить, повернуть много раз виденное, а потому и обычное, так, чтобы оно засверкало новым блеском, поразило воображение открытым богатством. В этом, вероятно, и заключена суть поэзии:

Черный контур веток. Белый снег
Лег везде, где мог, легко и пышно.
Замер лес, как спящий человек, –
Так, что и дыхания не слышно.

В 1976 году вышла книга стихов Еремина "Сердцевина". Стихи и поэма. Поиск первоосновы человеческой нравственности, содержательности человеческого бытия – главное, что определяет лирический пафос книги.

Так ли жил, не тратя даром дня,
Как казалось впопыхах доныне?
В самом деле, что там у меня –
В сердце, в середине, в сердцевине?!

"Так ли жил?" – вот главный вопрос, который мучит лирического героя книги и который определил в целом ретроспективный характер сборника. Автору "тревожно за себя", и эта тревога объяснима. Объяснима тем, что личная судьба рассматривается в ограниченном единстве с судьбами людей его поколения, чье детство знало "беду", кто "хотел на фронт попасть к отцу". Отсюда и стихи, утверждающие ратный подвиг тех, кто "пал во имя праздника Победы, во имя жизни, чтоб живущим жить" ("День Победы"), "кого дороги фронтовые не привели с войны назад" ("Солдатик") и тех, кто вернулся с запахом "госпитальных, в одежду въевшихся лекарств" ("Возвращение с войны").

Сборник утверждал высокую миссию женщины — труженицы, матери, солдатки. Венцом книги явилась поэма "Солдатка", удостоенная в 1975 году премии журнала "Наш современник" как лучшая поэтическая публикация года. Стойкость героини поэмы Алены, по мысли автора, можно поставить "в ряд с победою, завоеванной в бою". Поэма рецензировалась и в местной и в центральной прессе. В рецензиях подчеркивалось, что она развивает традиции классической русской поэзии, в частности традиции Некрасова, создавшего неповторимые образы русских женщин.

В 1978 году, вышла книга И. Еремина "Окоем" с добрым предисловием Н. Фотьева. В книге представлена поэма "Никаноровна", достойно развивающая тему женского подвига, начатого в "Солдатке". В 1982 году вышла книга поэм И. Еремина "Большак".

Мне уже неоднократно приходилось ссылаться на критические суждения Н. И. Фотьева. Сегодня его имя и творчество широко известно, прежде всего как автора добротной прозы — рассказов, повестей, романа "Вы остаетесь за нас". А в 60-е мы знали его прежде всего как поэта, автора сборников "Басни", "Куриная карьера". В 1963 году вышла книжка басен "На законном основании". Я их недавно перечел. Скажу одно — многие из них не потеряли своей остроты и сегодня, в период становления рыночных отношений и отечественной демократии. Достаточно перечесть басни "Сложная натура" и "Гляди в корень", начинающиеся соответственно строками: "Свинья была в оранжерее" и "Осел узнал, что для коров...". А басня "Ученый воробей" – очень и очень надолго. Приведем ее полностью.

Воробышек наукой занялся.
Он сел на ворохе овса
И заявил: "Найду секрет,
Как получать большие урожаи!"
С тех пор прошло немало лет.
Воробышек все так же продолжает
Долбить овес да ворошить,
А проку нет ни на полушку...
И то сказать, зачем спешить,
Найдя обильную кормушку?...

Вот так год от года поэзия Приамурья набирала силы. Росла писательская организация. Выходили новые книжки. Выковывалось мастерство, поэтическое видение далекого и недавнего прошлого края. В поэтическую орбиту втягивались новые наименования таежных поселков, строек, пролагаемых трасс. И все это освещалось великим пламенем любви к Приамурью.

Я не пишу историю развития поэтической мысли Приамурья, это непосильный труд. Мне хотелось напомнить некоторые вехи, традиции, имена, вскрыть истоки... И подробнее рассказать о творчестве моих хороших друзей, об амурских поэтах О. Маслове, И. Игнатенко, В. Яганове.

ОЛЕГ МАСЛОВ

Начну с парадоксального и явно не современного утверждения: поэзия О. Маслова — поэзия русского интеллигента. У читателя недоуменно поднимутся брови — интеллигента? Стихи? Да вы в своем уме ли? Интеллигенцию сегодня в грош не ставят, да она этого по праву и заслуживает. Вы что, Чехова не читали? Сегодня оценку, данную им русской интеллигенции, чуть ли не в каждой третьей статье цитируют. Забыли? Напомним: "Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо притеснители

выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, интеллигенты они или мужики. В них сила, хотя их и мало".

Ведь это напрямую и к поэзии относится. Неужели все эти Кибировы, Еременки, Друки, которые только подливают масла в огонь, — интеллигенты? Издеваются над святая святых — российской историей, честью, достоинством россиянина. А лексика? В выражениях не стесняются, пройдутся матюгом, как утюгом. Нет, быть сегодня интеллигентом, к тому же поэтом, увольте.

И все же, несмотря на подобные мыслимые контраргументы, я утверждаю: поэзия О. Маслова — поэзия истинного русского интеллигента, человека одаренного и глубоко убежденного в том, что он делал и делает нужное людям. Откройте его поэтические сборники, вчитайтесь в них. Я уверяю, что вы не найдете ни одной строки, в которой бы сквозили лицемерие, фальшь, истерика, как нет этих черт и в характере автора – скромного, обаятельного, требовательного к себе человека. Он — врач, более того, – один из опытнейших и знающих в своей отрасли, кандидат медицинских наук. Всю жизнь работа давала ему хлеб насущный, а стихи — это уже выражение духовных потребностей, стремление осознать предназначение человеческой судьбы в мире, обществе, государстве. И не отсюда ли главным стержнем его лирики, – а Маслов поэт лирический, – стало философское осмысление жизни человека как самого замечательного феномена в море вечности, как веч-нон загадки природы в цепи преемственности между тем, что было до рождения, и тем, что будет после естественного ухода в инобытие.

Великий Гете в "Гимне природе" создал прекрасные образы тонкой диалектической связи жизни и смерти, создаваемой "величайшей художницей" — природой. "Действие, которое она разыгрывает, — писал Гете, — всегда ново, ибо она непрерывно поставляет себе новых зрителей. Жизнь — прекраснейшая из ее выдумок. Смерть — художественный прием для создания новых жизней".

Удивительно! Свежо! Вечные и без сомнения главные проблемы. Впрочем, причем здесь Гете? Думаю, что ни один поэт не может пройти мимо, не пытаясь разгадать извечную тайну бессмертия человеческого духа. Не проходит мимо и О. Маслов. С большой искренностью эта попытка воплощена в следующих строках:

Когда я начал сердцем понимать
То, что умом давно постиг.
На свете
Не стало мне роднее слова – мать,
Не стало мне дороже слова — дети.
Мне как-то вдруг открылась, и сполна.
Что наша жизнь — не бег, но эстафета

Добра и счастья, разума и света,
Что нам самой природой вручена.
Я в ней свое бессмертье ощутил,
Не приобщаясь ни к какому чуду, —
И то, что до рожденья в предках был,
И что в потомках после смерти буду.
Одно — нашел, другое — потерял.
Прощай, покой!
Взамен пришла тревога:
Ведь срок, для дел отпущенный, так мал,
А сделать надо так безмерно много.

Жизнь — эстафета добра и счастья. Лирический герой О. Маслова мыслит нравственными критериями — долг, счастье, добро, сердечность, стойкость, жертвенность, сострадание. Эта этическая углубленность в человеческую природу, характеризующая авторскую позицию, органически входит в образную ткань стиха, придавая ему особое нравственно-эстетическое своеобразие, отличающее стихи О. Маслова от поэзии ряда его собратьев по поэтическому цеху. Многие из них пропитаны какой-то детской солнечностью — "... и так душа по-детски ликовала", озарены улыбкой, просты по форме. Они трогают душу глубиной образного проникновения в такие, казалось бы, неразрешимые тайны бытия, как вечность. Но поскольку перед нами поэт, то эти тайны решаются естественными поэтическими средствами — подбором всем понятных слов, упругим ритмом, мастерски расставленными акцентами, и все это таким образом, а в этом и заключен секрет мастерства, что вслед за автором мы начинаем ощущать "жизнь волшебством и солнце – божеством". И что удивительно, простые слова, кажется, уже затертые от повседневного употребления, начинают заново блистать каким-то новым поэтическим блеском.

– Не сетуй, человек,
На жизни скоротечность,
Пусть короток твой век.
Но ведь за веком — вечность.
И жизнь твоя — не миг,
А вечности частица,
К которой ты приник,
Чтоб навсегда с ней слиться.

Эти строки взяты из стихотворения "Песнь Земли", которое с полным правом вслед за Гете можно было бы назвать "Гимном природе". Но это противоречило бы поэтике автора, и он нашел единственно точное название — "Песнь Земли".

Своеобразие поэзии О. Маслова имеет глубокие жизненные основы, ее корни уходят в его профессию врача. Напомним, что первый его сборник, вышедший более 20 лет назад, так и назывался – "Моя профессия". В стихотворении "На вызов" автор писал:

Все, чем я счастлив, чем страдаю,
Тебе во всем обязан я,
Моя профессия родная,
Жизнь беспокойная моя.
Я присягнул тебе когда-то,
И навсегда душа верна
Высокой клятве Гиппократа,
Как ни тяжка порой она.

Стихи о профессии врача определили и название сборника "Передний край". Автору, который "надев халат врачебный свой и встав под знамя Гиппократа", "судьба нежданно приоткрылась своей счастливой стороной". Счастливая сторона жизни автора обернулась благодатной основой и для его творчества. Я затрудняюсь назвать другого поэта, кто посвятил профессии врача такие искренние, теплые стихи, как "Врач", "Руки хирурга", "На вызов", "На скорой"... Впрочем, в перечислении названий стихов нет особого смысла. Важно другое. Профессиональное начало постоянно подпитывало поэтическое творчество, и наоборот, — увлечение поэзией способствовало углублению профессионального мастерства. Я думаю, что это редкое сочетание двух творческих начал в одном человеке — поэзии и медицины – или какого-то иного сочетания профессионального мастерства с поэзией — непременное условие обогащения самой поэзии. Впрочем, об этом немало написано отечественными и зарубежными исследователями. И, несомненно, интерес читателя вызовет оценка этого уникального явления самим поэтом, которому хотя бы в целях самопознания необходимо было ответить на этот сложный вопрос. А поскольку перед нами поэт, он отвечает стихами. Вчитаемся в них:

В каких бы жизненных теснинах
Я лба себе ни расшибал,
Меня спасала медицина.
И ямб крылатый поднимал.
Я полюбил и то, и это
Одной любовью в звездный час—
И лиру звонкую поэта,
И чашу горькую врача.
Не погрешу на славословье,
Но утверждать всегда готов:
Нет краше песни, чем здоровье,
Бальзама — лучше верных слов.

Трудно усомниться в искренности этих строк и не восхититься красотой и законченностью поэтической формы. Ведь две заключающие стихотворение строки по большому счету — афористичны. В них мудрость, разумеется, поэтическая, пережитого, в них простота высокого мастерства. И они, что само по себе немало, легко запоминаются.

На последнем наблюдении я хотел бы остановиться подробнее. О. Маслов не стремится к созданию специально афористических сочетаний, строк, которые бы затем цитировались, передавались как нечто бесспорное, не подлежащее суду читателя. Как человек и поэт, он слишком скромен для этого, да и задачи он решает совершенно иные. Но опыт работы в поэзии, прекрасное знание мировой художественной культуры, – а его интересы распространяются на все художественное богатство от Эсхила до Пушкина и от Шекспира до Маркеса, до творчества амурских поэтов, чьи стихи он опять же хорошо знает и умеет ценить, — все это вместе взятое предъявляет особый счет к собственной поэзии, заставляя вновь и вновь оттачивать строки, отбирать лексику, находя образы, созвучные собственному поэтическому видению мира. Отсюда и тематический выбор, и художественное решение темы, отсюда и афористичность ряда стихотворений, как завершенность нелегкой интеллектуальной работы над "добычей радия".

Стоит перелистать сборники, чтобы воочию убедиться в этом:

Как ни суди житье-бытье —
Одно в веках проверено:
Что людям отдано — твое,
Что спрятано — потеряно.

Или:

Хоть словом, взглядом обнадежь...
Но ты молчишь и смотришь хмуро—
Ведь правды горькая микстура
Целебней, чем любая ложь.

Или:

И верь, что разнесет
Все тучи ветер встречный...
Ведь туча — эпизод,
А небо с солнцем — вечны.

Разговор о творчестве О. Маслова был бы неполон, если бы мы обошли молчанием географические корни его поэзии. Берусь утверждать, что О. Маслова, живущего на Амуре, уж никак нельзя зачислить в реестр сугубо амурских поэтов. Не умещается как-то, тесны ему узкие, строго ограниченные географические рамки. Сказанное совершенно не означает, что у него нет стихов о Приамурье, которое он не променял бы ни на что на свете.

Есть у О. Маслова стихи и о Благовещенске, о строительстве Бурейской ГЭС, об амурских селах. Мнеособенно нравится последнее стихотворение. Процитирую некоторые строфы.

— Где ж экзотика Востока.
Где амурский колорит? –
То Полтавка, то Тамбовка.
То Ивановка дымит...

А по долам хлебопашным,
По брегам великих рек
Основали предки наши
Села русские навек.
И, храня Отчизне верность,
В память дедовской земли
Эти веси нарекли…
Так без всякого засилья
Именами всех губерний
Отразилась, и вполне,
География России
На амурской стороне.

Поле поэтического обзора О. Маслова шире географических рамок Приамурья, и поверьте, для нас, коренных амурчан, ничего в этом досадного нет и не может быть. И вот почему. Несколько лет назад О. Маслов в составе творческой делегации Амурской области побывал в Туркмении. Впервые увидел необыкновенный пустынный край, знаменитые Кушку, Копет-Даг. За границей Иран, когда-то загадочная Персия. Закончилась поездка, и спустя какое-то время мы прочитали новые стихи, в которых ожили образы златокудрого Есенина, прекрасной Шаганэ. В этих стихах весь О. Маслов. А ведь это стихи амурского поэта. Вслушайтесь в них:

И было так желанно
Взглянуть хотя бы раз
На розы Хорасана,
На песенный Шираз,
Услышать звук дутара,
И въявь, а не во сне
Предаться сладким чарам
Прелестной Шаганэ.

Прекрасно, не правда ли? Только человек совершенно бесчувственный не оценит обаяния этих строк.

В сборниках О. Маслова мирно соседствуют стихи об Испании, в которых оживают образы героев Сервантеса Дон Кихота и Санчо Пансы, первооткрывателя Америки Колумба, с вполне "домашним" стихотворением "Дачное", стихи о рыбной ловле в Приамурье со стихами, воскрешающими историю России — "Коломенские дубы", а рядом – сонеты, миниатюры. Так все по-видимому и должно быть. В этом соседстве, в этом многообразии впечатлений — суть поэтического начала. Думаю, далеко не случайно первая часть сборника "Лицом к лицу" озаглавлена "В гостях и дома". Не нужно громко кричать о своей любви к отечеству, но тонко подметить, что возвращение из путешествия, изгнания,

даже командировки, к своим родным и близким — всегда праздник, не сопоставимый ни с чем, — одна из высших поэтических задач, которую убедительно и просто решает автор:

Только нет на свете и поныне
Уз, надежней кровного родства,
Оттого и в каждом блудном сыне
Тяга к дому отчему жива.

Эти строки созвучны мыслям великого русского поэта Б. Пастернака. Вспомним роман "Доктор Живаго": "Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение к дому, который цел и есть еще на свете, где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживанием, вот за чем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство — приезд к родным, возвращение к себе, возобновление существования".

И оттого, что это созвучие налицо, и в то же время эта тема решена совершенно в ином художественном ключе, стихи О. Маслова особенно проникновенны. Своим личным, пережитым он делится с читателем, приобретая в его лице еще одного любителя поэзии.

О. Маслов продолжает писать стихи и заниматься медициной. Он не боится высоких слов — порядочность, честь, добро. Он верит в существование этих черт в российском характере и доказывает это своим творчеством и своей жизнью, своей принадлежностью к русской интеллигенции, на чье великое предназначение в российском обществе указал великий русский интеллигент Г. Успенский: "...Интеллигенция! И слова-то этого множество разглагольствующего народа даже и не понимают путем: тогда как оно должно бы иметь самый определенный, глубокий смысл... Интеллигенцию надобно понимать вне званий и состояний, вне размеров благосостояния и общественного положения. Интеллигенция среди всяких положений, званий и состояний исполняет всегда одну и ту же задачу. Она всегда — свет, и только то, что светит, или тот, кто светит, и будет исполнять интеллигентное дело, интеллигентную задачу".

Недавно О. Маслову исполнилось 60 лет. Среди различных сувениров ему подарили копию роденовской головы Иоанна Крестителя, и в этом был большой смысл: нести людям свет, поднимать обездоленных, внушать людям веру в добро. Как это необходимо сегодня! И поэт несет свой крест, выданный ему трудною, но счастливою судьбою. Обзор поэтического творчества О. Маслова мне и хотелось бы закончить его стихотворением "Мой крест".

Мой красный крест, тяжелый крест,
Навек врученный мне судьбою,
Мне никогда не надоест

Нести тебя перед собою.
Ты кровно светишься во мгле
И утверждаешь, что от века
Одна есть вера на земле —
В земную жизнь и человека.
У каждого над головой
Своя звезда в небесной стыни,
А у меня — мой крест земной,
Моя бесценная святыня.

ИГОРЬ ИГНАТЕНКО

У меня дома собраны все поэтические сборники И. Игнатенко, и все они – с добрыми пожеланиями счастья. По-моему, я был одним из первых, кому эти сборники дарились. Иначе и не могло быть. Пять лет учебы на историко-филологическом факультете БГПИ в одной группе, три года проживания в одной комнате студенческого общежития, совместное сотрудничество в институтской малотиражке "За педагогические кадры", да и в дальнейшем судьба особо не разбрасывала наши пути, разве только годы моей учебы в Москве, работа Игоря на БАМе. Но все равно мы встречались, и довольно часто. Так что и рождение его книг каким-то образом происходило на моих глазах, хотя зачатие стихов оставалось тайной. Но так и должно. А в 1993 году Игорю Даниловичу исполнилось 50 лет. К его 50-летию в Благовещенске на полиграфической базе ныне уже Дальагроуниверситета вышла пятая поэтическая книжка И. Игнатенко "Гнездовья". "Да хранит Господь Ваше гнездо и наше общее гнездовье от бурь конца тысячелетия", — это авторское посвящение моей семье датировано Игорем 18 мая 1993 г. И мне думается, что в этом посвящении предельно точно определена главная поэтическая задача его творчества.

В аннотации к сборнику говорится, что в новой книге стихов члена Союза писателей России И. Игнатенко пейзажная, любовная и философская лирика тесно переплетается с поэтической публицистикой. Книга — раздумья поэта о Родине, трудных испытаниях, выпавших на плечи ее сыновей и дочерей.

Впрочем, откроем книгу.

Я, словно клен,
К земле родной прирос.
О, как горчат живительные соки!
Хмелею до невыплаканных слез,
Глотая ветер на обрыве сопки.
Речная пойма в синих лоскутах —
Дробится солнце в старицах, протоках,
Сухие гнезда на сухих кустах
Качают ветры северо-востока.
Гнездовья, потерявшие птенцов.
Найдут ли нас усталые пичуги?

Пусть желтоклювых выведут певцов
И щебетом разбудят жизнь в округе.
Дождусь ли их — не знаю...
Только вновь
Расклеит май березовые почки.
И эту жизнь, как вешнюю любовь,
Пусть ощутят без боли мои дочки.

Я привел стихотворение, которым открывается сборник и которое задает ему тон. Что можно о нем сказать? Сказать, что оно выстрадано, — не сказать ничего — каждое поэтическое слово должно быть выстрадано, иначе поэзии нет и в помине. Но то, что я привел, — это стихи, стихи по большому счету. И это дает право сказать о поэтическом мастерстве автора, который видит не только тему, но уже знает и умеет найти единственно верное художественное решение, когда отсекаются лишние фразы, слова, сочетания, убивается назидательность, ликвидируется риторика, когда авторская мысль воплощается в неповторимо личностной форме восприятия мира.

Для меня лично ощущением авторского личностного начала явились две последние строки стихотворения. Для кого-то, может быть, мои объяснения не убедительны. Ну, что ж, давайте вернемся к истокам творчества И. Игнатенко. Первая его книжка вышла в 1982 году и называлась как-то по-детски – "Сентябрины". Стихи. О чем писал молодой автор? О строителях БАМа, о таежных поселках, реках, или, как подчеркивалось в аннотации к сборнику, — "о своих современниках, о тех чувствах, что их волнуют". Большинство стихов — "Десант", "АЯМ", "Могот" воспринимаются сегодня как дань времени, истории строительства БАМа. Признаемся, что и строки стихов "В грядущее путь — он идет по Кувыкте", "Она спешит на Чульман, родная колея" или "Застревала песня в горле, но работа грела нас", мягко говоря, далеки от поэзии. Думаю, что и сам автор сегодня улыбнется, перечитывая эти строки, — добрые, но наивно декларативные, впрочем, как была наивна и декларативна и жизнь многих из нас.

И вдруг, каким-то диссонансом на этом фоне, — стихи настоящие, сделанные не наспех, а мастером, умельцем, взвешенно и прочно. И самое удивительное, что автор нашел себя в извечной, воспетой тысячами поэтов всех стран теме. А тема эта — колыбельная. "Колыбельная" — стихи, посвященные дочке Ларе:

Пчелы в садике давно
Улей свой замкнули.
Смотрит звездочка в окно.
Все уснули.
Притаились пауки.
Дремлет кот на стуле.
Тихо в доме у реки.
Все уснули.

И на плесе пескари
Нехотя всплеснулись.
Будет тихо до зари.
Все уснули.
...Где-то ходит по степи
Счастье моей дочки.
Спи, малышка, крепче спи,
Прибавляй в росточке.

Прозрачно чистые стихи, написанные на одном дыхании, — они говорили пока еще о нереализованных возможностях автора, заставляли пристальнее вглядываться в его творчество.

В 1987 году, когда вышла книжка Игоря Игнатенко "Годовые кольца", я поздравил его литературной пародией. Из разных стихов сборника выписал отдельные строки, показавшиеся мне, как бы это выразиться, несколько забавными. Пародия, которую с теплой улыбкой воспринял автор, звучала так:

Километрами артерий
льется чистый кислород.
Я тяжел и невынослив,
мне совсем невпроворот,
Бултыхался я на Гребле,
жрал на пойме лягушат.
Был я в бане и на БАМе,
видел рай и видел ад.
Молчаливый и незваный
рвал я щавель босиком
И стихи писал украдкой
за высоким сосняком.
Я подслушал крик гусиный,
сердца вздрогнувшего стук.
Вы теперь меня, ребята,
не возьмете на испуг.
Вот натюкаю вязанку —
не стихи, а просто смак.
Мне б в Союз теперь пробраться,
хватит жить нам кое-как.

Разумеется, пародия — это литературная шутка. А если всерьез?

В сборнике есть стихотворение "Даурские журавли", строки которого и определяют содержание всей книги: "Гнездо родное — отчий дом, что с ним? Кем эти стены хрупкие хранимы?". Стоит вдуматься не столько даже в художественное, сколько в нравственное содержание этих строк, и открывается трагическая тема разрушения нашего общего гнездовья. Воистину — "что с ним?". Отсюда понятна и ретроспективность многих и, по-

моему, лучших стихотворений сборника, воскрешающих незабываемые моменты детства, юности, согретых теплом домашнего очага, добрым словом старшего товарища, отсюда и постоянное возвращение "на круги своя", чтоб "связь времен тем самым не нарушить". Отсюда и стихи "Хохлатское", встреча с которым — "Словно мать меня здесь повстречала и ввела в забытое тепло": "Желание" — "И не избыть, и не забыть...

Так в детство захотелось...
Сейчас бы печку истопить.
Чтоб мама отогрелась;

и "Степина горка", и "Сенокос" и, конечно, "Весенний счет", стихотворение, в котором, "...по дороге в садик дочка ведет всему на свете счет". Доброе и радостное стихотворение:

...Потом деревья сосчитали —
Нам десяти хватило слов,
И десять домиков в квартале.
И даже десять встречных псов.
...Наивность дочки безотчетна,
Но ощущаю — и меня
Переполняет жажда счета
Мгновений начатого дня.

Венчает книжку венок сонетов "Ровесница", посвященный покойной матери. Почему венок сонетов? Вроде бы в наши дни исключительно редко обращаются к форме сонета, а здесь — целый венок. Впрочем, на то авторская воля. Сам он свой выбор объяснил двумя последними строками заключительного, пятнадцатого сонета:

Тебе сложил я строчку за строкой
Венок сонетов — дар мой запоздалый.

Убедительно ли подобное объяснение? В нравственном плане — да, в художественном — не совсем. Дело в том, что когда каждый новый стих начинается повторением последней строчки предыдущего, а из совокупности стихов должен сложиться поэтический венок, завершающийся сонетом, составленным из начальных строк всех предыдущих стихов. В этом, несомненно, содержится художественная заданность формального толка, которая очень даже просто может обеднить содержание. С другой стороны, — это и рискованный художественный эксперимент. Будем считать, что эксперимент удался. Он, в сущности, и был проведен для того, чтобы еще раз подтвердить преемственность жизни, подаренной матерью и переданной автором своим дочерям:

На мой огонь — неровный и усталый —
Слетаются две дочки — два птенца.
С годами поседевший, возмужалый,
Горжусь я, мама, званием отца.

В 1990 году вышла третья книга стихов Игоря Игнатенко — "Пора плодов". Предисловие к сборнику написал О. Маслов. Он с полной определенностью обозначил характерные грани поэзии Игнатенко: лирический герой — сельский интеллигент, в том числе и живущий в городе, но кровно связанный с селом; стержневая тема — связь поколений и времен: малая родина — Приамурье. Отсюда преклонение перед крестьянским трудом, любовь к дальневосточной природе, обращение к памяти детства, истории родного края и вера в его будущее, в торжество разума и человечности. Отличительной чертой новой книги является то, что основу ее составляют два больших поэтических полотна — венок сонетов "Ровесница" и поэма "Годовые кольца".

В последней главе поэмы автор, обращаясь к будущему исследователю произведения, писал:

Как едкому критику мне объяснить
Сюжета поэмы неровную нить,
Ритмов скачки,
учащенность дыханья,
И чем здесь подтекста обоснованье
И сверхзадача,
И просто идея,
Во имя чего я бьюсь и радею?

Не относя себя к "едким критикам", возьму на себя смелость утверждать, что сверхзадача поэмы намечена еще в стихотворении, проанализированном нами, — "Весенний счет": "Переполняет жажда счета мгновений начатого дня". Разумеется, в расчет нужно принять одну существенную поправку, а именно — заменить "начатого" на "прожитого". А впрочем, это и необязательно. Заключая поэму, автор предельно четко сформулировал сверхзадачу не только поэмы, но и всего своего творчества:

Покуда я жив,
я считать обречен
Кольца былых
и грядущих времен,
Кольца в деревьях,
кольца в себе,
Кольца в Отечества трудной судьбе.

Годовые кольца лиственницы — "триста сорок два кольца", они и породили "триста сорок два вопроса", на которые автор и пытается дать ответ в своих философско-лирических раздумьях о времени, драматической истории края, о человеческих судьбах. От похода Пояркова — "Царева служба" (Кольцо седьмое) через лихолетье "в горевом году тридевятом", через бури гражданской, ужасы тридцать седьмого и до "стройки века" и до осознания самого простого — губим себя — часть природы, ибо "в ее беззащитности

есть обреченность, в ее обреченности — дум наших черствость". Смею думать, — это лучшие строки поэмы.

И еще раз — "Гнездовья". О, я думаю, автор будет негодовать, что я не заметил сатирической направленности сборника, целого раздела — "Иронические стихи" — "Тише воды, ниже травы"!

Увы, заметил. И я, и читатели. И главное, заметили то, что еще не вполне ясно прояснялось в прошлых книгах, — тягу к современности. Автор не может жить среди бурь отшумевших, он и не ищет их, но... Он их видит и фиксирует своим поэтическим мышлением, фиксирует их так, как их видит. Распад, распад гнездовья, — что может быть страшнее. И осознание этого родило самое, на мой взгляд, лучшее стихотворение И. Игнатенко — "Изверги".

Я приведу его полностью. О нем не надо рассуждать, читайте его.

Били хлопцы батьку
дружным коллективом.
Больно очень было,
горько старику.
Подкреплялись хлебом,
освежались пивом:
— То ли батя, было
на твоем веку?
— Было, детки, было...
Побольнее били —
били за идею,
не за просто так.
На вершине власти,
При здоровье, силе,
каждый был при случае
в зубы дать мастак...
— Ну и как ученье,
не на пользу вышло?
— Не скажите хлопцы!
Вразумил Господь:
наш закон гуманный,
что телеге дышло.
Скорбен дух бессмертный,
Коль ликует плоть...
— Плоть первична, батя, —
умничают хлопцы, —
ну, а дух вторичен.
Стало быть, учтем:
если тело бренное
мы сейчас прихлопнем
и душа не сыщется
даже днем с огнем.
— Пощадите, детки,
что вам за забава

немощь мою мучить?
В чем моя вина?
И поник главою,
скрипнувши зубами,
сивокудрый батька,
ветхий старина.
— Молодость у старости
ходит в подмастерьях —
против этой мудрости
мы не супротив.
Ну, а впрочем, батя,
первична не материя,
а кулак и сила.
Словом — коллектив.

Я не хочу разбирать это стихотворение. Мне ясно одно: Игорь Игнатенко начал говорить своим поэтическим языком. Лучше всего скажут его стихи. Я под ними подписываюсь.

Да здравствует жизнь терпкая,
как спирт!
У нас любовь с ней крепкая,
не флирт.
Напрасно не посетую,
стерплю.
Родился непоседою,
люблю
пространства бесконечные
тайги
и струи быстротечные реки.
Пока хожу и плаваю, —
живу,
а смерть придет — со славою
помру.
Меня оплачут стылые
дожди.
Ну, а пока что, милая,
ты жди.

ВИКТОР ЯГАНОВ

Виктора Александровича Яганова приняли в Союз писателей России, когда ему уже исполнилось полвека, не поздновато ли, — спросит читатель скептически. Отвечу строкой поэта: "А вы смогли бы?". Впрочем, не обижайтесь. Лучше откройте его первую книжку стихов "Извлечение корня", вышедшую в Благовещенске еще к 1982 году, и прочитайте стихотворение "Комбат".

— Огонь! — командует комбат

С лицом сухим, как корка хлеба.
Ломает с грохотом снаряд
Стекло сверкающего неба.
— Огонь! — командует комбат,
Боек срывается послушно.
И вдаль уносится снаряд —
Последний мой за годы службы.
И если я, уйдя в запас,
Вдруг пошатнусь в борьбе за правду,
"Огонь!" — отдай, комбат, приказ —
Я выполню твою команду.

В запас В. Яганов, не ушел, — не довелось дожить доначала нового века. Но до самой своей безвременной кончины он оставался на передней линии огня, всепоглощающего огня, который называется поэзией.

Год от года крепло поэтическое мастерство, публиковались новые стихи, выходили новые книги: "Тепло" (1992) и "Казачий разъезд" (1993). Стихи, по образной характеристике автора, — "веселые и печальные, о жизни и о друзьях". Откроем первую книжку. Вчитаемся в немудреные строки:

Дом моего деда:
Ставеньки, сени, крыльцо.

Вас охватывает щемящее чувство от искренней простоты поэтического рисунка, и в то же время по каким-то внутренним ассоциативным законам в памяти всплывают строки другого поэта:

Тихая моя родина
Ивы, река, соловьи...

Вспоминаете? Да, это строки Николая Рубцова. Да, того самого Рубцова, чье творчество в 60-е — начале 70-х годов ознаменовало собой новую волну, новый прилив в отечественной поэзии. Того, кто смело порвал с модной публицистичностью поэзии, фиксирующей, как объектив фотоаппарата, динамично меняющуюся действительность, обратив свой взор на извечные человеческие ценности, душу человека, его сердце, тайну бытия, счастья, гармоническое единение с великой матерью — Природой. Немало писалось и о том, что Рубцов вернул нам интерес к творчеству Тютчева, Фета. Но, как писал сам Рубцов:

Я переписывать не стану
Из книги Тютчева и Фета,
Я даже слушать перестану
Того же Тютчева и Фета,
И я придумывать не стану
Себя особого, Рубцова,
За это верить перестану

В того же самого Рубцова,
Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннееслово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова!

Эти строки Рубцова являются, на мой взгляд, ключом к открытию своеобразия поэтического мира В. Яганова, представленного на страницах следующих книг. Негромкие, начисто лишенные фразы, клятв, заверений и призывов, они в хорошем смысле развивают глубокие гуманистические традиции тютчевско-рубцовского направления в поэзии, по-своему воспроизводя внутренний мир автора. И если, читатель, в сборниках В. Яганова некоторые стихи воскресят в вашей памяти стихи других больших русских поэтов, это еще одно подтверждение тому, что автор работает в магистральном русле русской поэтической традиции. Подтвердим сказанное сравнением двух стихотворений. Первое — из сборника В. Яганова "Тепло". Стихотворение называется "Корова".

Корова сломала ногу —
Бродила по гиблым местам.
Гнали корову к логу,
Чтобы зарезать там.
Больно ступать ей было.
Дрожали мелко бока.
Двое кнутами били,
Третий тащил за рога.
Третий был пьян и злобен,
От частых запоев жесток.
Бился в коровьей утробе
Разбуженный матом телок.

Вы прочли и содрогнулись от человеческой жестокости, жестокости людей — наших современников. Но вы, несомненно, вспомнили судьбу и другой коровы, которую с необычайной поэтической силой воспел еще в 1915 году великий русский поэт С. Есенин. Помните? —

Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах,
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.
Сердце неласково к шуму
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

Я не стану дальше цитировать известные строки стихотворения С. Есенина "Корова". Скажу другое — перед нами два совершенно разных стихотворения. Но в них много общего, и прежде всего это чувство человеческой боли, и даже не за судьбу "братьев на-

ших меньших", а за человека, его судьбу, которая, особенно сегодня, зачастую не слаще судьбы животного. Преемственность в поэзии, в тематике, в образном решении темы, бережное сохранение и осмысление опыта поэтического мастерства предшественников и современников — хорошая черта творчества В. Яганова.

В добротном плане развития заложенных мастерами прошлого традиций стихи "Солдатки", "Отпуск", "Учитель пения", "Дом", "Сироты", "Школьная лошадь". Последнее приведем полностью.

Лампа керосиновая,
Классный стол.
Еще над Россиею
Вдовий стон.
Не все еще с фронта
Вернулись отцы.
Дома покосились —
Сменить бы венцы.
Другу Володьке
Лишь восемь лет.
Нету отца,
Еще отчима нет.
Школьная лошадь
(Который уж год)
В школу промерзшую
Уголь везет.
И намотавшись,
Вздохнув тяжело,
Инистой мордой
Уткнулась в стекло.
Глазами ее,
Устремленными в класс,
Трудное время
Смотрело на нас.

Сборник, откуда взяты приведенные стихи, называется "Тепло", и в этом свой поэтический и нравственный смысл. Заметить человека самого незаметного, как в стихотворении "Срочный вызов", — дворника, увидеть мост через Зею в образе древнего ящера, переходящего речку вброд, грызть соленый огурец, как зеленую сосульку, — из этого складывается поэзия: особый взгляд на мир, согретый человеческим теплом, — теплом, процитируем автора, "сердец, которых не закрыть на внутренний замок непониманья".

Лейтмотив сборника "Казачий разъезд" выражают, на мой взгляд, строки из стихотворения "Внук казака" — "Возрождаются сегодня на Амуре казаки". Тема возрождения казачества принципиально новая в поэзии. Эта тема (не будем забывать, что потомственным казаком является сам автор) обозначилась еще в сборнике "Тепло". Достаточно вспомнить стихи "Баллада о Муравьеве-Амурском", "Каторжанки", "Амурские казачки",

"Возвращение со сборов", "Воскресение", "Рук казак не покладал". Часть из них естестственно вошла в новый сборник. Но наряду с ними в сборник вошли и новые стихи, развивающие тему освоения Приамурья, воскрешающие быт, культуру казачества. Это и "Сказание об Иване Москвитине", "Баллада о казаке", и "Челобитная". Но дело не в перечислении стихотворений на казацкую тему. Дело заключается, по-видимому, в том, что тема казачества для автора стала тем поэтическим фундаментом, который уже сегодня определил духовный взлет его творчества и который, думается мне, будет определять его и в дальнейшем. Тема оказалась для автора благодатной эстетической находкой. В ней заключены возможности не только восстановить прерванную связь времен, но и наполнить ее истинно гуманистическими ценностями — побудить людей вспомнить о человечности, милосердии, сострадании. Воскресить человеческую веру в добро, справедливость. И автор в полной мере использовал открывшиеся перед ним возможности. Вполне естественно, что основная эстетическая и нравственная нагрузка в сборнике ложится даже не на такие стихи как "Казачий разъезд", давший сборнику названье, а "Рождество", "Освящение", "Троицкая церковь", "Стою пред Господом покорный", которые по праву венчает поэма "Слово о Божьей Матери". Причем стихи высокого духовного накала органически сочетаются со стихами, воскрешающими нелегкий труд и немудреный быт наших современников, такими, как "Девочка в синем трико", "Вахтер", "Гостиница", "Нищий" и др. Но... слово автору: Приведем одно из лучших стихотворений сборника — "Освящение".

У царских врат иконостаса
Под звуки древних вещих слов
Пылали жарче, чем лампасы.
Сердца амурских казаков.
Свечей горенье восковое
Над славой желтого креста,
Святили знамя Войсковое
У ног российского Христа.
Вселяло веру Божье слово
А честь — кропящая рука.
В крови распятое сословье
Вновь возрождалось на века.
И крест андреевский для глаза
И непривычен был, и нов,
Как перекрестие лампасов,
Как символ братства казаков.
В Господнем Храме не для славы,
Мужской потехе вопреки,
Святое знамя целовали
И присягали казаки.

Поэту Виктору Яганову жилось как и всем нам в последние годы, нелегко. Но он любил жизнь, а его стихи думается, сделали ее хоть чуточку, но лучше. Спасибо ему.

Поэзия Приамурья! Это не только перечисленные мною имена. Это, несомненно, талантливый А. Воронков, у которого "получилась песня, суровая, похожая на гул", это С. Демидов – "поколенье шестидесятых", это С. Федотов, это… В последние годы мы услышали удивительные голоса амурских поэтесс Н. Дьяковой и С. Борзуновой.

Закончить хотелось бы стихами поэта моей юности Л. Завальнюка:

Я люблю эту землю –
И в сиянье, и темную,
И покрытую зеленью,
И пургой заметенную.
По судьбе – и случайную,
Даровую – и трудную,
И пустынно-печальную,
И веселую, людную.
Я люблю эту землю –
С голубыми составами,
С городами далекими,
Молодыми и старыми.
И тебя, новый век,
Темноту добивающий,
И тебя, человек,
От любви прозревающий.
Небо синее кровлю
Уронило на Зею…
Сердцем, всей своей кровью
Я люблю эту землю.
Как мой прах ни рассеется,
Что со мною ни станется –
Это в чем-то поселится,
Это где-то останется!

ЛИТЕРАТУРА

1. А.В. Лосев. Приамурье в художественной литературе // Амурское кн. изд-во, 1963. С. 19.
2. Амурская правда. 1976. 6 февр.
3. Амурская правда. 1976. 7 февр.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие…… 3
Литературный процес в переломные годы …….. 4
В зеркале истории ……..…….15
Возвращенная литература ……..….28
Русское литературное зарубежье и А. Солженицын ……..47
Экология нравственности ……..……64
Из истории литературы на Амуре ……78